

Галина ТАЛАНОВА  
*г. Нижний Новгород*



# ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ

ПОВЕСТЬ  
(Публикуется с сокращениями)

## 23

Зачем человеческая природа устроена так, что, потеряв неудачу в одной любви, мы тут же бежим на поиски другой? В вакуум втягивает любого, кто оказывается поблизости. Но ведь сердце Одиссея не опустело. Он понимает уже, что не сможет, наверное, никогда бросить свою бедную Дору. Он опять в ответе за тех, кого приручил. А жизнь всё больше начинает походить на ад. Зачем он послал этой женщине последнее сообщение? У них нет будущего. У него есть прикованная на годы к кровати тёща и близкая женщина, которые в нём нуждаются и которые без него пропадут. Почему человеку свойственно совершать иногда непредсказуемые поступки? Просто в тот день на него накатила, как серое беспристрастное море, такая тоска, справиться с которой не было никаких сил. Тоска была неумолима, как осень и возраст. Можно пытаться подтянуть свои морщины болезненным хирургическим вмешательством, но природу не обманешь. Он запрыгнул в чужой вагон в надежде, что в спальном вагоне окажутся свободные места, оставшиеся от брони, а проводник бесцеремонно проводил его на жёсткое место в прицепном последнем вагоне, а вагон качает из стороны в сторону так, что даже на ногах устоять трудно. Он и Дору утащил за собой в этот последний вагон.

А теперь он идёт по осеннему городу с этой полужанной женщиной, с которой он не виделся почти двадцать лет, лучших лет его прожитой жизни, но с которой у него есть общие воспоминания из того времени, когда он был глуп и ему казалось, что всё у него состоится — только надо много работать для этого и жить честно.

Он идёт и блаженно улыбается, хотя улыбаться нечему. Женщина рассказывает ему о своей жизни после смерти её мужа, принимавшего когда-то участие и в судьбе Одиссея. Это благодаря ему Одиссей смог повидать мир на Соросовские гранты. Женщина ещё молода и уже немолода. «Она из твоей весовой категории, — думает Одиссей, — поэтому тебе с ней легко». Нет того вечного ощущения, что сидишь на жёрдочке качелей: с одной стороны — ты, с другой — она. Качели взлетают, ноги отрываются от земли, сердце ухает в пропасть — и кажется, что вслед за сердцем в пропасть полетишь ты. А потом ты резко и больно ударяешь-

ся о землю, слышишь глухой звук удара и чувствуешь, что сейчас тебя выбросит с насыщенного места куда-то в сторону.

Осень на редкость тепла. Октябрь, а ты одет не по сезону. Синий шерстяной пуловер с белым орнаментом, напоминающим всплывающие окна монитора. Он тебе идёт, этот свитер. Даша как-то пошутила, что он его специально купил в тон монитору, чтобы составлять гармоничную пару. Он идёт лёгкой пружинящей походкой в полуметровом расстоянии от женщины, и ему хочется взять её под руку, но он не решается. Навстречу им попадаетея пожилая пара. Коричневый сморчок в старческих бляшках в половину лица, изборождённого морщинами, как будто ветер пробежал по дюнам, складывая песок в рифлёную поверхность, да божий одуванчик в пепельных кудряшках химической завивки, рассыпающихся на ветру. Пара идёт им навстречу, крепко держась за руки, как будто опасается, что толпа может разъединить её. Но эти двое идут как равные, а не как в последнее время Одиссею приходилось ходить с Дорой, цепко держа её за руку, как ребёнка, которого бояться выпустить, чтобы тот не потерялся и не заплакал в голос, привлекая внимание прохожих.

И Одиссею вдруг захотелось, чтобы в его жизни была вот такая осень — когда можно гулять, взявшись за руки, на зависть или улыбку всем прохожим.

С деревьев опадают последние яркие листья, дрожащие на южном ветру и похожие на жёлтые, красные и оранжевые лоскутки. Кроны деревьев становятся всё прозрачней для солнечных лучей, падающих рассеянным и ленивым пучком на тротуары. Он поддаёт носком один из листьев, ярко-огненный, и катит его по тротуару, как маленький футбольный мяч. Женщина смеётся залихватским смехом, напоминающим ему звон бубенчиков, которые привязывают к лошадям, тащащим повозку, нагруженную гуляющим народом в парке на Масленицу. Лист отрывается от земли, подброшенный носком его ботинка и подхваченный лёгким ветерком; повисает в воздухе — и вдруг резко поворачивается и улетает за ограду набережной, оберегающей крутой спуск к реке. Они стоят у ограды и медленно провожают

в полёт этого маленького дельтапланериста. И ему вдруг очень хочется сорваться в лёгком беге и лететь кубарем за этим шальным листом, ловя улетающее мгновение и совсем не думая о том, что этому листу суждено быть прижатым к земле, стать измочаленным скорыми изнуряющими дождями и, наконец, оказаться придавленным к земле глубокими снегами, по которым настоящие лыжники будут прокладывать свою дорогу, чтобы лететь очертя голову и перейти вставшую ненадолго реку.

Он рассказывает Светлане свою жизнь, но не сегодняшнюю, когда все нервы напряжены до такой степени, что кажется: только тронь — и зазвучат визгливыми звуками расстроенной гитары, от которых хочется заткнуть уши. «Хранить несчастья отдельно от счастья...» Каждый имеет то, к чему так или иначе шёл.

Когда-то он завёл маленького котёнка, которого назвал Янус из-за его странной окраски: правая половина его шерстки была окрашена в рыжий цвет, а левая половина в чёрный — огонь и пепел. Котёнок подрос и однажды чуть его не убил. Одиссей проснулся ночью, почувствовав, что сейчас остановится сердце: воздуха не было, он задыхается и его лицо горит. Он попытался открыть рот, но понял, что ему воткнули какой-то меховой кляп — и кричать он не может. Стояла крошечная темнота, в которой не было никакого просвета и звёзд; пролетело видение, что это дурной сон, но сгорело кометой, вызывая удушье. Он схватился рукой за лицо — и ощутил, что всё оно покрылось густой шерстью. Он закричал в ужасе от своего сна, но внезапно тёмный занавес поднялся, открывая его комнату, залитую лунным ртутным светом и морозным воздухом, струящимся из открытой форточки. Янус шмякнулся на пол, злобно мякнув. Их кот почему-то никогда не падал, перевернувшись в воздухе, на все четыре лапки, а именно шмякался на спину, задрал лапки, и обиженно, с недоумением лежал на спине, показывая своё брюшко.

Почему этот любимый им Янус решил, свернувшись калачиком, спать на его лице? К чему он хотел быть ближе? Почему наши любимые близкие, желая быть ближе, могут невзначай убить?

**П**очему Светлана ждёт звонков и писем от этого Одиссея? Её жизнь кончилась со смертью мужа. И, пожалуй, она уже привыкает быть одной и даже думает, что это не так уж плохо.

Она больше не чувствует себя женщиной и живёт по инерции, без какого-то интереса. Она даже почти счастлива вот этой ровной отупоженной жизнью без особых подбрасываний на ухабах. Молодость миновала. Это узнаёшь не только по потерям и исчезновениям любимых и близких, но и по отсутствию желаний. Хочется жить, просто переползая изо дня в день, не ставя никаких целей. Зачем? Ведь всё равно вблизи цель не узнаешь. Увидишь мелкие, совсем неприглядные подробности и детали, которые даже не угадывались издали.

Её как будто обволакивает туман, туман одиночества, за которым никого не видно. И её тоже не видно. Но её даже радует это отсутствие видимости. Купаешься в белом молоке, как в пуховой перине.

И всё же она ждёт письма, хотя бы самого коротенького. Это она понимает. Нельзя в одну и ту же воду войти дважды. Если писем нет, она зачем-то ходит по всем тем сайтам и чатам, где Одиссей оставляет свои следы, «отдельные и неповторимые, как своя жизнь». Пытается понять по этим неуловимым теням, чем он живёт. У него почти нет теней от личной жизни на страницах Интернета: одна работа, сотни страниц Интернета — и лишь его работа. Пропали и страницы из дневников его подруги на страницах «Живого журнала». Совсем канули в Лету? Только ли потому, что у той ослабло зрение? Или на страницах, видимых любому постороннему, оставляют следы люди, которые счастливы и которые хотят заявить миру: «Я живу полной жизнью. Завидуйте мне. Я победитель, хотя бы сегодня. Я стою на сцене, и меня освещают юпитеры. Завидуйте мне, все мои друзья и враги, мои любимые и любившие, бывшие и нынешние»? Заявляют, самоутверждаясь и уговаривая себя в том, что сегодня им хорошо. Останавливают мгновение, понимая, что так будет не всегда. Счастье не может быть долгим. А чаще бывает так, что только спустя годы мы понимаем, что были счастливы когда-то. «Как молоды мы были, как искренне

любили, как верили в себя...» Где эта песня? То же канула в небытие вместе с юностью, пролетевшей и сгоревшей, как звезда в холодной августовской ночи? Клацнул затвор фотоаппарата — снимок готов. Снимку выцветать, терять насыщенность красок, желтеть и стариться бумаге, как стареет и желтеет наша кожа. А экран Интернета так и останется голубым, как океан в солнечную погоду... И вдруг когда-нибудь в старости ты сам набредёшь на свою незапечатанную бутылку со старым электронным папирусом, читаным-перечитанным сотнями скучающих глаз, и подумаешь: «Как же я был глуп и наивен, как самодоволен, как не похож на себя нынешнего, и, если бы я мог встретиться с самим собой, но юным, в этой жизни, то мы бы, возможно, сильно повздорили».

Зачем же она бродит по этим чужим страницам, выставленным напоказ, как реклама счастья или афиша спектакля? Неужели только любопытства ради? Да нет... Она не боится признаться себе, что что-то её зацепило в этом человеке, и не сейчас, а тогда, в юности... Выуженная нитка, которая, казалось, может вытягиваться, как резинка, вдруг завязалась узелком. Сила, с которой нитку тянули, ослабла — и началось стремительное уменьшение расстояния в обратную сторону.

Возраст начинаешь осознавать с опозданием. Все уже знают — а ты ещё не догадываешься. Кажется, что чудо ещё впереди. Ждёшь подарка, как в детстве. Ищешь под ёлкой. Давно знаешь, что Деда Мороза нет. Ну и что? Есть мама и папа. Есть бабушка и дедушка. Они ещё играют в эти игры, хотя понимают, что ты давно играешь с открытыми глазами. Но подарок-то существует. И ожидание чуда существует такое явное, как запах отогревающейся от мороза хвои, от которой кружится голова.

Впрочем последняя ёлка была очень давно. Её принёс участковый врач. Отец тогда умирал и уже не мог стоять в длинных очередях часами на морозе в ожидании грузовика с накиданными в него слегка уже полысевшими по пути в город елями, срубленными до срока и провалявшимися почти месяц на морозе. Им теперь предстояло ненадолго оттаять, быть наряженными в цветную мишуру, разноцветные блестящие сосульки и шарики, в которых маленькой Светлане так забавно было изучать своё от-

ражение: нос картошкой в половину физиономии, рот до ушей, вытянувшееся лицо, широко распахнутые глаза дауна. Вскоре ёлкам предстояло осыпать иголки на паркет, из которого их потом ни за что не вымести. А когда с напрочь полысевшей ветки съедет на пол колокольчик (он сначала протяжно зазвонит — и его почти не услышат — так, догадка о чём-то, а потом вздрогнут от звона разбившегося стекла), оказаться сваленной за домом рядом с мусорным контейнером в окружении таких же месяц тому назад ещё молоденьких и вечнозелёных.

Той последней ёлке была суждена другая судьба.

Её унесли из дома раньше. На другой день, как только она успела оттаять в тепле и стала источать горьковатый хвойный запах праздника. Её успели даже нарядить. Оловянные солдатики и дюймовочки крепко сидели на прищепках, шары и полусферы не падали, даже повешенные на самых кончиках её пока мохнатых лап, запутавшись нитками за пахучие иголки. Новый год ещё не наступил, а с ёлки сняли игрушки и унесли её на помойку. В этот год чуда не получалось. Отец начал задыхаться от запаха хвои.

Спустя несколько лет были ещё совсем ненаряженные ветки с живыми коричневыми шишками. Их принёс старый знакомый. В этот год чуда не ждали. Ждали смерти — и боялись, что она постучит под Новый год, а значит, могилышки будут пьяные, знакомых не найти, а в моргах — рождественские каникулы. Бабушке запах хвои не мешал. Она была уже где-то там... Она помнила про троксевазин на окне, но не узнавала дочь. Приоткрывала светло-голубые, небесные, почти прозрачные глаза, такие странные на иссиня-чёрном синяке лица, силясь вспомнить, кто же это, улыбалась и махала слабой ладошкой: «До свиданья...» Запах мешал живым. Еловые ветки мысленно сворачивались в колечко, а хвойный запах перебивал запах немьтого тела и свежеструганой сосны. Но съжившиеся от мороза шишки на ветках вдруг раскрылись и просыпали на стол семечки. Весь стол был завален лёгкими крыльшками каких-то больших насекомых. Эти насекомые, наверное, летели на яркий свет, крыльшки свои обожгли — и они отвалились. Большая стая насекомых — и все летели на яркий свет.

Теперь появились искусственные ёлки. В детстве тоже были искусственные, но не живые. А эти — живые искусственные, они не пахли, но

их можно было надушить хвойным освежителем воздуха. Сибирские, голубые, длинно- и короткохвойные, сосновые, кедровые, с шишками и без. Разные-разные. Совсем не лысеющие. Вечнопушистые. Вечнозелёные. А значит, чудо задержать в ладони возможно? Надо только чуть-чуть себе подыграть. Как в детстве, когда залезал под ёлку за подарком. Радость от ожидания чуда, она ведь всегда сильнее, чем сам праздник. От праздника остаётся гора немой посуды, залитая рыжим соусом и красным вином скатерть, старческие бляшки разможжённых крошек на полу, головная боль от жизнерадостного телевизора и не тающая до весны печаль, что ещё год нашей жизни прошёл, и, в сущности, громкими криками «С Новым годом!» мы лишь приветствуем своё приближение к старости. Ведь это не время проходит. Это проходим мы.

Впереди снова шёл Новый год. Светлана теперь воспринимала Новый год однозначно — как возможность отдохнуть и отоспаться. Время, когда можно почти до утра целую ночь, лёжа в постели, читать книги или смотреть фильмы, а потом сладко спать даже не до полудня, а до того времени, когда за окном начинают слегка сгущаться сумерки, окрашивая снег за окном в лиловый свет, и пропадают все тени. Когда-то ожидание Нового года означало ожидание чуда. Теперь чуда она не ждала. Она ждала покоя. Уютного такого ватного сугроба, в котором можно спать, как медведю в берлоге.

В этот год ей даже ёлку наряжать было неохота. Существует такое поверье: как Новый год встретишь — так его и проведёшь. Так пусть ей будет мягко, тепло и спокойно. Большого она и не ждёт.

Сделав несколько дежурных звонков и отправив по электронной почте с дюжину поздравительных открыток, она поужинала макаронами с сыром, прослушала обращение президента и бой курантов, под которые все обычно загадывают желания, и нырнула с книжкой в постель в предвкушении десяти дней выходных. У неё было несколько желаний: чтобы повысили зарплату, чтобы перевели на лучшую должность, чтобы ничего плохого не произошло и чтобы побольше было свободного времени. Подруга ей сказала по телефону, что надо загадывать лишь одно желание и очень хотеть, чтобы оно сбылось, всё то время, пока бьют куранты. Но Светлана решила,

что загадает несколько, как обычно. Ведь из нескольких какие-то всегда всё же сбывались. Но, когда она услышала бой курантов, похожий на колокольный звон, оповещавший о начале другого года, который не сулил никаких перемен к лучшему, она почему-то загадала всего одно желание: «Хочу любви и больше не быть одной». Когда куранты затихли, она подумала: «Зачем же я так загадала? Я хочу только спокойной жизни, а любовь — это уже жизнь беспокойная. Ну да ладно, загаданные желания всё равно не сбываются. Может быть, потому, что мы не очень этого хотим? Иногда нам кажется, что хотим, а в подсознании живёт совсем другое, живёт, чтобы всплыть, как утопленник, в самый неподходящий момент, как будто утопленника можно оживить».

Первого января за окном начались морозы, и в квартире, как водится в праздники, перестали топить; она надела штаны с начёсом и боты «прощай, молодость» с меховой окантовкой, натянула два свитера и ватную стёганую жилетку и стала изучать поздравительные открытки, счастливо улыбаясь и думая, что это же хорошо — «электронная почта». Она слегка удивилась, обнаружив в почтовом ящике поздравительную открытку от Одиссея: «С Новым годом! Желаю, чтобы в новом году жизнь запахла весной!»

Она зачем-то попыталась поискать его следы в Интернете... Следов было много, но все — по работе... Лишь одна надпись на стене «ВКонтакте» немного проливали свет на состояние её далёкого знакомого. Ему писали: «Надо зажаться и не скулить. Хуже уже вряд ли может быть. За чёрной полосой приходит светлая». Ох уж эти надписи на «стенах»! Они — как тени... О подробностях можно только догадываться, а контурный рисунок, бегущий по стене, для острого глаза отчётливо виден. Хотя иногда его и приходится разгадывать. Надпись можно стереть, можно переписать, а можно оставить навсегда... А настоящие тени на стенах уходят с исчезновением света. Не догнать и не вернуть...

Лёгкий, почти не фиксируемый в сознании интерес к нему забрезжил, как белый парусник на горизонте. Из какого миража и когда возник этот корабль? Почему он приближался, стремительно увеличиваясь в размерах? Зачем на него хотелось посмотреть в бинокль? Интерес торопил поступки...

Теперь Светлана выстраивала в цепочку всё, что знала о нём. Одно цеплялось за другое, порядок звеньев был не важен. Цепочка была непрочная, и разорвать её можно было лёгким рывком. Но рвать не хотелось. Разлетятся звенья с тихим печальным звоном, закатятся в щели памяти — попробуй извлеки оттуда! Будут поблёскивать из глубины, тревожа воображение.

Она подумала, что возраст измеряется ценой душевных затрат. Отказываешься платить эту цену — значит, состарился.

## 25

**Ж**изнь входила в свою колею. Привыкаешь ко всему, к несчастьям тоже. Когда их слишком много и они растут как снежный ком, с ними срастаешься. Катишь и катишь этот ком несчастий, наблюдая с удивлением, как он всё увеличивается, но в глубине души всё же надеешься, что будет весна с её предчувствием счастья и желанием перемен — пригреет солнышко, и снежный ком начнёт таять на глазах, пуская весело журчащие ручьи, по которым можно отправить бежать кораблик, сложенный из исписанного мелким убористым почерком листка своей жизни.

В его доме жили две чужие женщины, к которым он постепенно привыкал. Но оттого что привыкал, счастье не возвращалось. И свои воспоминания, в которых не было Доры, медленно, но неуклонно, набухали в нём, пустив стрелу, грозящую выбросить диковинный цветок, распутившийся на болоте. Он вдруг перестал принадлежать сам себе, а когда и как — и не понял... Он стал частью целого и чувствовал себя в птичьей клетке. Проблема вечной любви подобна проблеме вечного двигателя, которого не существует. Почему люди женятся? Пускаются в погоню за миражом, окрылённые надеждами, а в конце концов свыкаются с пустыней.

Если бы ему сказали три года тому назад, что он поселит в своей квартире двух чужих женщин, претендующих на его судьбу, он бы рассмеялся. Он тогда отдыхал от своего неудавшегося брака и болезней родителей, наслаждался тишиной, покоем, свободой и совсем не казался себе щепкой в бушующем море, которую любая волна способна потащить за собой. Напротив, Одиссей как

никогда не чувствовал, что он — на привязи железной цепью к стальному кольищу, глубоко, по макушку вкопанному в твёрдый грунт на берегу. Его не могло смуть шальной волной: лодка была перевернута и лежала на высохшей траве, готовясь к долгой зимовке.

Но он ошибался. В природе всё перепуталось, вместо зимы вернулось лето; лодку оторвало от кольища и вернуло на место огромной тающей льдиной, несущей в себе недюжинную силу.

Его жизнь сильно изменилась. То, что было раньше, теперь стало ничем. Ибо того, что было, нет, и он писал закат; не успевал окунуть кисть — как всё менялось: и цвет, и очертания; розовый свет медленно растворялся в иссиня-тёмном, ступающемся над головой и заслоняющем небо, как вороное крыло.

Он больше не жил у себя дома. Это был совсем чужой дом, где успели всё перестроить на свой лад и подчинить себе. Все три комнаты его просторной «сталинки» теперь были заняты чужими женщинами, и он даже подумывал о том, что ему надо приобрести какую-нибудь лёгкую китайскую ширму, раскрашенную диковинными павлинами, коих было в современных магазинах в изобилии, чтобы отгородить себе жизненное пространство, не доступное чужому взору. Он уже не мог закрыть дверь в свою комнату. У него больше не было своей комнаты. Это так было похоже на то, что он испытывал более десяти лет первого брака, живя в квартире жены с её родителями. Он там был гость. И вот он снова гость, только квартира эта — уже его родителей, в которой жили когда-то и бабушка с бабушкой... Квартира, которая хранит в памяти воспоминания и тепло той жизни, когда он был маленьким, любимым и лелеянным, когда бабушка говорила ему: «Мой цыплёнок», а отец сажал на колени, и он вдыхал сладкий запах его табака, что потом стал для него непереносимым. Это была квартира, где бабушка пекла пироги, а бабушка рубил тяткой для них капусту, и ему накладывали эту капусту в фарфоровую тарелку с зайчиком в оранжевой футболке: он обожал эту начинку и никак не мог дожидаться, когда же испекутся горячие пирожки, в которые она будет завернута. А бабушка смеялся и говорил: «Ну что, заяц?» Это была квартира, где мама читала ему вечерами про дальние странствия,

держа книгу на тёплых коленях, в которые можно всегда было при случае спрятать лицо от любопытных взглядов, а другой рукой, такой гладкой и пахнувшей чем-то удивительным, гладила и ерошила его волосы. Это была квартира, где он стаскивал валик с дивана, ложился на него пузом и катался на нём по свеженатёртому паркету с запахом мастики и блестящему, как лаковый каток. Это была квартира, где дедушка крутил фильмы на большом белом экране, распластанном на стене, в котором был снят он, Одиссей. Больше всего ему нравилось, когда эти фильмы начинали перематывать назад: он так ловко и с такой скоростью въезжал в ледяную горку в парке! Эти воспоминания жили в нём, тихонько по ночам сдавливали обручем сердце и иногда вдруг неожиданно всплывали из проруби памяти. Но ничто не напоминало и тени их призрака днём. Все призраки были изгнаны из этого чужого дома.

Изгнан из этого дома был и Дашин смех, стоявший в нём, когда они приезжали с ней к его родителям в отпуск или на каникулы. Его жизнь была до отказа забита другими, и у него просто в этой жизни не осталось своего угла. Так... Одна лишь тайная пыльная кладовка, куда, слава богу, пока нет хода никому и которую он иногда тихонько открывает и недолго стоит на пороге, вглядываясь в хаос, царящий в ней, и думает, что когда-нибудь он до неё доберётся — и обязательно разложит всё по полочкам.

Современный брак — очень хрупкая конструкция. Идея лёгкой разлуки, иллюзия попробовать всё сначала, пока ещё не поздно, постоянно витает в воздухе и существует как тайное утешение. Так у него было в первом браке. Теперь же он оказался просто загнан и зажат, окружён предметами, отодвинуть которые у него не доставало ни сил, ни природной порядочности. Это был его удел — постоянно наткаться на острые углы, оставляющие синяки и кровоподтёки. Надо было смириться и жить, хранить свет и запах дней своей молодости в заполненных, запечатанных сотах улья своей памяти. Странная вещь — память человеческая... Можешь помнить такое, чего, собственно, и не было. Предчувствие счастья всегда оказывается сильнее самого счастья.

Раньше ссоры были летними грозами, после них наступали часы безмятежной радости, пах-

нушие озоном и манящие коромыслом радуги на горизонте. Теперь они превратились в затяжные дожди с непролазными глинистыми дорогами, в которых стояла вода, и её не могло высушить редкое солнышко, проглядывавшее из-за свинцовых туч, летящих с севера. Раньше менялась погода, а теперь изменился климат.

Поезд ушёл. Перрон опустел. Рельсы текли параллельно. Он стоял и не двигался, как будто отстал от состава в середине пути и теперь не знал, что делать. А может, просто это был не его поезд? Не надо было запрыгивать в чужой вагон, увозя с собой чужую молодость. Нет способа откручивать назад ленту случившегося.

Зачем посетило его это сумасбродное желание выломиться из возраста, отобрать у судьбы уже прожитый кусок, перескочить в чужой вагон, хоть в тамбуре постоять, хоть за подножку уцепиться? Тот же состав, те же рельсы, тот же маршрут. Знал, всё знал.

И теперь он бредёт по пристанционному перелеску, поддавая носком лакового ботинка пласти листвы, коими время выстлало душу, с опаской заглядывает в непролазную чашу, где всё затушёвано и размыто мельканием солнца, высекающего слёзы, и шевелящихся теней, где пробираться можно только наугад...

Жизнь впереди кажется бесконечно длинной, как незнакомая лесная дорога, а жизнь позади представляется всего лишь одним мгновением, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что оно было.

Мы завидуем молодости, хотя знаем, что часто она бесцветна и пустынна. Мы завидуем праву её на глупость, на страх, на слабость, на робость, мы завидуем её самоуверенности, что «прекрасное далёко» впереди, её неутраченными возможностями состояться. Даже самоубийц больше всего среди молодых. Потому что где-то там, на большой глубине, скрытой толщей воды не только от посторонних глаз, но и от себя, молодость не уверена, что всё окончательно и всерьёз.

Трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаёшься молодым. Только вот другие тебя молодым почему-то уже не воспринимают. Может быть, именно поэтому его так потянула к себе его Дора, которая совсем не была в его вкусе. Сейчас Дора как бы приблизилась в своих несчастьях к его возрасту или даже определила его по приближению к финишу. Тогда

почему он постоянно ловит себя на мысли, что ему хочется бежать от неё куда глаза глядят? Её-то глаза не глядят. Ах, как бы он хотел теперь, чтобы её глаза уставились на какого-нибудь молодого, которому по плечу любая ноша. А его эта ноша пригибает к земле и не даёт видеть небо. Ему остаются только тени под ногами; по ним идёшь, как по диковинному узору. Может быть, это ему божья кара за то, что он запрыгнул в чужой вагон? А чем виновата Дора? Тем, что поспешила быть счастливой?

Мужчины бывают мальчишками даже в старости. Для этого достаточно всего-навсего душевного раскрепощения. Но он больше не чувствовал себя мальчишкой. Ему показалось, что он уже старик, будущее его безрадостно, но ему предстоит пройти ещё большой отрезок пути, вытаскивая ноги из облепившей их глины, чувствуя, как с каждым шагом ботинки становятся всё тяжелее, ты скользишь и теряешь равновесие, и всё труднее ровно идти вверх по глинистой дороге.

Он сам не понимал, зачем ответил на письмо этой женщине, с которой пересекался на институтских площадях, но никогда никак не касался её. Она нравилась ему. Он глубоко симпатизировал её мужу и был буквально потрясён его скоропостижной смертью, это просто не укладывалось в его голове, они же совсем недавно были юными, и вся жизнь была впереди... А тут уже всё, холод на кладбище, небытие и медленное забвение. Женщина и он иногда улыбались друг другу, но у них не было будущего. Они проворонили своё будущее, хотя счастье можно было поймать, оно было где-то рядом. Он ведь помнил очень немногих сокурсников. А все встречи с ней почему-то помнит. Она была какая-то — не из толпы, и в толпе — отдельно от неё. Она с толпой никак не могла слиться, наверное, из-за своей внутренней углублённости и отгороженности от мира. Словно в какую-то воздушную прослойку была обернута, которая сквозь себя не пропускала, как в термосе хранила температуру содержимого. Ему почему-то захотелось её теперь увидеть и поговорить. Он подумал, что, пожалуй, ответил просто из вежливости, но тут же одёрнул себя: «Э, нет, братец, хоть себе уж не лги... Просто ты захотел ощутить на лице ветер из того блаженного времени, где тебя знали молодым...»

Это неправда, что наши воспоминания ста-

тичны. Они изменчивы и подвижны, как облака, которые ветер сбивает в тучи, чтобы однажды разразиться ливнем; как лицо, когда видишь его перед собой утром, днём и вечером, месяц за месяцем, год за годом; оно становится всё прозрачней и делается в конце концов невидимым. А другое лицо вдруг смутно всплыло из глубины колодца памяти: оно неясно и подвижно от дуновения ветра, его так хочется зачерпнуть в ковши ладоней. Но нет, оно остаётся на дне колодца, а набранная вода утекает меж пальцев — и совсем не потому, что ты их слишком широко расставил. Обернись же, вот оно, это лицо, за твоим плечом, обернись — и протяни руку, чтобы успеть ощутить две солёные дорожки, быстро высыхающие на ветру.

Он зашёл на сайт «Одноклассники» с тревогой моряка, открывающего новую землю, о существовании которой, как ни странно, до сегодняшнего дня не подозревал, и написал:

**Одиссей:** Человеческая жизнь не так уж долга, чтобы в ней встретилось очень много близких тебе людей. Совсем не обязательно, что такое ещё раз может случиться в жизни. Жизнь — это сужение, сначала — это широкая воронка, потом всё уже и уже. Остаётся единственное. Весной особенно остро ощущаешь обречённость на одиночество: ни с кем не пересекаются, только соприкасаться — и проходить мимо. Обманываешь сам себя и боишься сам себя. Как капля воды, которая боится подойти к другой, чтобы не слиться с ней и не перестать быть отдельной каплей. Очень жалею, что дрогнула стрелка часов и отклонила маршрут, пронеся мимо, пожалуй, очень близкого человека.

## 26

Что была какая-то особенная радость, так редко посещающая человека, что ему даже чудится порой, будто бы жизнь его только-только начинается, а всё, что было прежде, не более как томительная подготовка к этой бессмысленной и загадочной радости.

Он не мог понять, откуда эта радость взялась. Сердце стучало в горле, в висках и кончиках пальцев, билось этакой синичкой, запертой в клетке.



Они почти не разговаривали, сидя на краешке кресел, и совсем не потому, что не было темы для разговора, а потому, что она была слишком велика, чтобы её поднять. Всякое неловко брошенное слово могло нарушить неустойчивое равновесие, которого им удалось достичь: они будто сидели на концах ненадёжно уравновешенной доски, под которую было подсунуто сваленное сучковатое дерево, и если один из них подался бы к другому хоть на полметра, то равновесие бы нарушилось и они соскользнули бы в неизбежность. Стать глухонемым: говорят, что глухонемые прекрасно договариваются друг с другом без слов.

Они пробирались друг к другу из дальней дали через множество новых привычек и взглядов, словно время засыпало их, как песок; и теперь приходится прорывать туннели, чтобы пробиться друг к другу, постоянно чувствуя, что песок в любой момент может обвалиться — и всё опять погresti под собой.

Если он и говорил что-то, то — с полуулыбкой, дурачась... А внутри — дрожь и обморок. Чувствовал, что его уже несёт чужая сила, как волна, как отлив, как цунами... Что будет в следующую минуту, он теперь не знал: тащило, крутило, колотило внутри страстное, весёлое нетерпение, предчувствие и отчаяние, тайная и сильная тоска. Он казался себе бревном, которое, напорвшись на порог, начинало кружиться на месте, не находя выхода.

Голос его был сух, как щепка, и тих — так он боялся, что громко сказанное слово выдаст смятение.

Иногда чужие становятся своими. И неожиданно очень быстро. У него было такое чувство, что его мысли читают и объяснять ничего не надо. Эту женщину знает он будто всю жизнь, но она и загадка для него, которую ему предстоит разгадать.

Он подумал, что, пожалуй, у него сейчас состояние человека на тонком льду. Можно только бежать вперёд; остановишься, оглянешься — лёд провалится. Время сделало своё дело. Он уже не мальчик, скачущий с сачком за многоцветной иллюзией. Человеческая жизнь оказывается всё же длиннее одной любви, но почему у него всё так обрывается быстро? Почему люди тихо живут, спокойно переползая из дня в день и мало думая о грядущей старости, а его

накрыла с головой штормовая волна, после которой на берегу, покрытом ребристой тёркой песка, остаётся всякий сор, а в душе усталость и пустота? Пустота втягивает в себя, как вакуум, и вот опять он — точно на разломе. От себя не убежишь и не спрячешься, от близких тем более. Если бы не Дорино несчастье, он бы чувствовал себя свободным, как ветер. Он так и решил для себя, что жениться он больше не будет. Но его теперь накрепко приковали к себе ржавеющими цепями совести и долга. А эта ещё красивая женщина, которая стала гораздо интереснее, чем он знал её в юности (в юности был серенький нахохлившийся воробушек), не требовала к себе внимания, она смирилась со своей судьбой, как уже почти смирился он, хотя втайне от всех лелея иллюзию, что ржавеют и самые прочные цепи. Чтобы жить — надо всегда создавать иллюзии. Она просто спокойно рассказывала ему о своей жизни с мужем и без него, жалея о многом и собираясь встречать осень, хотя за окном была весна.

Эта весна была уже не для них. Когда он летел по улице к Светлане, то внезапно его взгляд наткнулся на крышу дома, над которой вырос гигантский козырёк искрящегося на солнце снега, обросшего гигантскими причудливыми сосульками, похожими на какие-то диковинные сталактиты. Он подумал, что не надо ходить под такими крышами: в один миг может оборваться всё, даже череда всех твоих последних несчастий. Так было и в его жизни: мягкие снежинки неурядиц оседали над его домом, тихо вырастая в большой сугроб, снег отношений таял на солнце, но капли замерзали на ветру, превращаясь в блестящую ледышку, которой суждено было накрыть однажды его с головой. Теперь он так и живёт убитым. Сугроб накрыл в тот момент, когда над головой светило солнце и была ранняя весна. Но ледяная глыба в его жизни не таяла, она просто его замуровала.

А нынче была новая весна, и хотелось перемен, она его уже изводила непереносимо тем, что вёсны теперь были не для него.

Но с весной из жизни исчезал чёрно-белый свет и появлялась яркость. Исчезала прозрачность ажурных крон, кронам скоро суждено было обрасти листвой, а ему новыми людьми и отношениями. Он подумал, что его новая жизнь как-то будет должна существовать па-

раллельно со старой, никак не нарушая её течения: права пускать реки вспять у него не было. Может быть, у него даже нашлись бы силы на это, но как бы он смотрел в глаза людям? Теперь остаётся крепко зажмуриться и надеяться, что снег будет таять быстро, не успевая обледенеть звёздными ночами, напоминаящими маленькому человечку, что он всего лишь песчинка на ветру мироздания.

Они просто говорили и пили чай. Ложечка позвякивала в стакане, за окном дребезжал трамвай, звонок которого был похож на звонок в театре, предвещающий новое действие. Ему хотелось забраться на диван с ногами — и никуда не уходить. Но он не решался и прямо сидел на краешке, стараясь спрятать свою больную руку под журнальный столик. Он давно забыл, что у него больная рука, и жил так, будто она здоровая, а теперь ему хотелось её зарыть от чужих внимательных глаз. В начале полосы своих последних несчастий ему подсознательно всё время хотелось, чтобы его пожалели, но жалеть было некому: родители умерли, жена нуждалась в его сочувствии и поддержке сама. Он должен был быть сильным. Он постепенно срастался с этой маской, она приросла к его коже, он слился с ней. А теперь ему почему-то снова хотелось, чтобы его пожалели, но подумал, что эту женщину тоже можно и нужно пожалеть. Хотя она, пожалуй, научилась справляться со своими проблемами сама.

«Я теперь звоню в фирму «Муж на час» — они через час приезжают и всё устраивают», — смеясь, сказала она, но на её лице лежала какая-то еле уловимая тень печали.

Печаль пряталась в уголках губ, изгиб которых напоминал повешенную на гвоздь подкову. Печаль пряталась в её сторбленных плечах, хотя лишь этим она напоминала того воробушка, которого он знал в юности. Не бередите того, что заросло бльём, не рвитесь в запертые двери, вдруг окажется, что они поддадутся лёгкому нажиму, и ты ввалишься в неизвестность, в которой совсем не ожидал оказаться. Беги, пока не поздно, если уже не поздно: твоя судьба ждёт тебя в другом месте. Или там была не твоя судьба? Зачем ты запрыгнул в тот чужой вагон, набитый шумной молодёжью, громко смеющейся без причины и бьющей по истощённой нервной системе децибелами?

...Невесом, как пух, поцелуй в щёчку на прощание. Но ему почему-то захотелось прикоснуться губами к её щеке, ощутить запах увядающего яблока, прорастающего коричневыми пятнышками.

## 27

Что так странно: ощущать себя молодой и совсем не чувствовать возраста. Иногда Светлане кажется, что двадцатилетняя молодёжь — это её ровесники. А иногда она пугается, глядя на мужчин на десять лет моложе её. Нет, она никогда не хотела, чтобы рядом с ней был мужчина моложе её. Но когда они вдруг перестали быть мальчиками, а превратились в солидных, твёрдо стоящих на земле мужиков? Она искренне удивляется, когда они делают ей комплименты как женщине. Неужели она вообще может ещё вызывать какой-то интерес, кроме общечеловеческого? Она так устаёт на работе, что стала радоваться, что одна.

И всё-таки иногда ей хочется, чтобы рядом была родная душа. Или это желание приближается к невозможности? Все мы просто токуем, как терева на току, слыша лишь себя.

Жила почти счастливой, в любви и гармонии, потом всё в одночасье оборвалось, а она почти смирилась с этим и даже уже привыкла к нынешнему своему существованию. Это неправильно, что возникает иллюзия замены одних людей другими. Каждый человек уникален, потому и половинка бывает одна. Другой не бывает, хотя бывают, наверное, более-менее подходящие половинки. Но вот она живёт без половинки — и ничего... Уже радуется тому, что у неё есть свобода, и она совсем не хочет больше терять кого-то. Притупление эмоций — это тоже старость. Но, если это так, тогда почему ей странно слушать размышления молодых коллег, что все мужчины одинаковы, что всё взаимозаменяемо? Почему её возмущает, что «Гранатовый браслет» Куприна — продукт больного воображения и такого в жизни не бывает, это не актуально в нынешние времена? Все отношения полов строятся по схеме: «Ты мне квартиру — я тебе любовь, другого просто не бывает». Бедные девчонки, да они же искренне всё это говорят, они прос-

то не представляют, что может быть по-другому. Они верят в женскую дружбу, но совсем не представляют, что мужчина может быть другом, человеком, который готов тебя понимать и жалеть, человеком, с которым можно разговаривать. Они так и живут, стараясь скорее получить по возможности большую цену за свою ласку. Они искренне переживают, что во многом не соответствуют идеалу своих случайных партнёров, все они хотели бы выйти замуж навсегда, и все они говорят, что ненавидят мужиков. Странные какие-то... Обсуждают на полном серьёзе, что блондины некрасивы, а вот брюнеты... Она всегда думала, что это удел мужчин видеть только хорошенькую фигурку или мордашку. Романтики — ноль. Бедные, как же они обкрадывают себя! А они почему-то считают, что это она обделяет себя, упуская то, что отпущено ей природой.

Но в городе снова весна... Весной она чувствует себя словно на распутье. Весна — это перемены, а перемен уже не хочется никаких. Но она бредёт по улице, сняв, наконец, шапку, ловит лицом свежий ветер и думает, что молодость прошла так быстро, что она её даже не почувствовала. Всё пыталась чего-то достичь и бежала в гору, чувствуя своё сбивающееся дыхание и сердце, колотящееся в грудную клетку и рвущееся из неё наружу. Она и сейчас бежит — останавливаться некогда. Кто-то поднимается в гору на подвесной канатной дороге, но большинство, как она, медленно и мучительно. Зачем? Чтобы потом кубарем спускаться или чтобы сказать, что он достиг площадки, которая снизу казалась ему малодостигаемой? А кому это надо говорить? Окружающие, те, что не побывали там, только пожмут плечами или позавидуют. Выходит, мы говорим это только себе. Себя и уговариваем, что нам это надо, что иначе мы бы чувствовали себя несостоявшимися, прожившими в неполную меру отпущенных нам сил и возможностей.

Светлана бредёт по городу, пропитанному талой водой, и думает, что ей не нужна эта весна. Она не для осенних людей с их хандрой и авитаминозом. Мальчишки пускают пластиковые кораблики, зайдя по колено в ручей, вливающийся в глубокую непрозрачную лужу в радужной плёнке бензина, скопившуюся у входа во двор дома, и Света замечает, что в жизни не так уж

много изменилось, просто раньше кораблики были из газеты.

Она не знает, зачем ей нужен этот Одиссей, оказавшийся связанным по рукам и ногам своим неудавшимся полётом под облаками на воздушном шаре. Ветер подул совсем с другой стороны, откуда его никто не ожидал совсем, и несёт шар, из гондолы которого никак не выпрыгнуть. Да, этот шар зацепился за верхушки мачтовых сосен в её саду, но ему лететь дальше, и не ей пытаться удержать этот шар.

Но в глубине души Светлана знает, что придёт домой и снова пойдёт тем же интернет-маршрутом, которым гуляет Одиссей, и не выдержит, замигает, как маяк в ночи, пошлёт ему сигнал, напоминающий азбуку Морзе лишь тем, что её понимают — не многие, а только те, кто обучены этой азбуке. Учитесь читать между строк, чтобы быть счастливыми и понимать недосказанное.

## 28

Одиссей всё больше пугает Дору. Он и раньше уезжал, надолго оставляя её одну. Ещё в самом начале их отношений Дора ощущала, что он как бы отгорожен от неё какой-то непроницаемой стеной, за которой скрыта янтарная комната, входа в которую нет никому. И ей тоже. Он к ней относился как к большому ребёнку. Дора видела в нём взрослого друга и чувствовала, что он её понимает, но с болью замечала, что он постоянно уходит от неё куда-то: увёртывается от её внимания, от её вопросов, от её друзей; старательно прячет от её глаз всё, что было до неё.

«Не надо копать в прошлогодних листьях, сгребать их граблями в одну кучу, чтобы сжечь», — однажды ответил он на её какой-то вопрос.

Теперь он совсем ушёл в себя; она не знает, о чём он думает. Она перестала его чувствовать. Вчера она случайно заметила блаженную улыбку на его лице. Ей он уже так давно не улыбался. Он словно что-то вспоминал про себя, то, что увидеть она не могла. Это были его воспоминания, в которых она не жила.

Вообще, он стал раздражителен, малоразговорчив, днями и ночами сидел за компьютером. Оживал, когда собирался в командировки, словно рвался сбежать на свежий воздух из помеще-

ния, в котором постоянно висели пелёнки и пахло ежедневным стираемым бельём.

Она теперь не выходила одна на улицу, только с Одиссеем или подругами. Но он очень неохотно выполнял её просьбы пойти погулять, ссылаясь на то, что ему не до прогулок. Ему, пожалуй, действительно было не до гулянья. Но она всей кожей чувствовала, что дело не в этом. Это она поняла тогда, когда они шли по городу и ехали в метро сразу после операции, она ощутила, как ему тяжело указывать ей ступеньки, он еле сдерживал своё раздражение. Она вся съёжилась, как отжатая тряпка, не только внутренне, но даже внешне: и от мыслей, что с ней произошло и как она будет жить дальше, и от того, что он жалел не её, а свою жизнь. Будущее было темно и безлюдно. Она пыталась нащупать ногой ступеньку, про которую говорил Одиссей, вцепившись в его сунутую под локоть руку, которой тот её поддерживал, но под ногой была пропасть — и она летела в неё, пытаясь удержаться за выступ скалы. И ничего нельзя было изменить, надо было быть благодарной судьбе, что этот человек был рядом, что у неё были сёстры, что она знала иностранный язык и могла давать уроки хотя бы детям, что у неё есть дом.

Но дом рассыпался на глазах, как картонный домик. Удержать хрупкую конструкцию не могло ничто.

Зрение вернулось, но видела она всё очень искажённо, одни лишь световые пятна. Как фейерверк или ночные расплывающиеся огни в тумане. Там тоже были лишь одни слезящиеся пятна. Она могла даже читать и писать на компьютере, используя специальную программу для людей с ограниченными возможностями, как её теперь называли.

Матери лучше не становилось, но ей и не было хуже. А Дора как бы замерла в оцепенении. Она вспоминала свой юношеский девиз: «Надо много работать — и всё будет». Она работала в свои двадцать лет на самом деле много для её поколения, а что в результате? Так, в один день оказывается перечёркнутой вся твоя прошлая жизнь. Иногда на неё накатывала волна вины, но чувство страха, что она может остаться в этом мире одна и жить так до глубокой старости, было гораздо сильнее. Тогда она по-собачьи преданно начинала смот-

реть на него и почти скулить. Он гладил её по пружинящим волосам шершавой, как наждак, ладонью, прижимал к груди, вдыхал её запах и говорил: «Ничего. Как-нибудь прорвёмся!» И тогда она думала, что хоть в этом ей повезло. Не будь его, всё равно бы с ней рано или поздно всё случилось. Почему судьба, даря одной рукой, отбирает другой? Почему в этом мире за всё следует расплата? Она ведь никому особо ничего плохого не сделала.

Она догадывалась, что смогла бы удержать его окончательно, если бы решилась завести ребёнка. Но даже если «кесарить», она может совсем ослепнуть. Да и на что она обречёт своё чадо, пусть оно и не унаследует её дефект, как это называют врачи? А если Одиссеем всё же бросит её или с ней что-то случится?

Она помнит, как однажды, ещё школьницей, заходила с мамой в ЖЭК. Там находилась пара. Оба были слепые. Их сопровождала какая-то знакомая. Они решали что-то с вопросом прописки сына, который сидел в тюрьме. Сейчас этот случай постоянно выныривал у неё из проруби памяти. Она пыталась привязать к нему какой-нибудь тяжёлый булыжник, чтобы он не тревожил её, появляясь на поверхности. Но сюжет ускользал и через день, два, неделю выныривал снова...

Будущее было темно и туманно. Настоящее двоилось и расплывалось. Если на глаза наворачивались слёзы, то все предметы теряли свои очертания, и о них оставалось только догадываться, как будто плывёшь в каком-то подводном мире, рискуя напороться на корягу, приняв её за колыхание причудливых водорослей обманчивых предчувствий.

Она каждый день ждала, что отслоение сетчатки повторится, ей постоянно казалось, что она видит снова хуже, ей было страшно и одиноко, как ребёнку, оставленному взрослыми в тёмной комнате за какую-то мелкую провинность, совсем не соизмеримую с тем ужасом, который он испытывал. А его никто не слышал. Так и её никто не слышал, ей сочувствовали, ей помогали советами, договаривались с врачами, но её не слышали. Она только теперь поняла, насколько человек одинок, маленькая песчинка в мироздании, которую швыряет ветер куда ему заблагорассудится. Её сейчас, пожалуй, смыло водой на дно реки. Реки мелеют медлен-

но. Над головой толща воды, через которую не подняться. Луч солнца слабо пробивается всё ещё сквозь эту толщу воды; солнце — словно просвечивающим покрывалом каким-то накрыто, тусклый большой шар, смутно напоминающий своим цветом атомный гриб на картинках, запечатлевшихся в памяти...

## 29

**Б**ыло ясно, что тепло неизбежно и неотвратимо, словно половодье, как языком слизывающее луга и скрывающее мелкие подробности кустарников под толщей талой воды, каждый день отвоёвывающей для себя сотни метров нового пространства.

Одиссей подумал, что лёд последних месяцев его жизни неожиданно тронулся; льдины плывут, опережая друг друга, сбиваясь в кучу, чтобы скоро разойтись навсегда и раствориться, став, в конце концов, одним целым — общей массой из половодья, из которой просто невозможно вычленишь то, что жило совсем недавно своей отдельной жизнью.

Впрочем, то, что это тепло преждевременно и холода ещё вернутся дохнуть своим хриплым простуженным дыханием, понимали все. Но лето всё равно было уже не отменить. Чёрная полоса не может быть бесконечной. Это как маятник: чем больше отшатнётся в одну сторону, тем сильнее отнесёт в другую.

Откуда у него это предчувствие — он не понимал, но оно было почти осязаемо. Он пробовал на вкус талый воздух, набирая его в лёгкие, сколько они способны вместить в себя, и чувствовал, что в душе поднимается совершенно непредвиденная волна радости, взявшаяся непонятно откуда, и снова начинал ощущать себя мальчишкой, у которого впереди вся жизнь. Нет, головой он разумел, что лучшие годы жизни позади и впереди уже наметился плавный спуск к последнему обрыву, но до этого было ещё так далеко...

Дома у него ничего не менялось, и эта совершенно непонятная радость как бы жила совершенно отдельно от всего того, что с ним происходило. Радость была нелогична, и ей можно было дать только одно объяснение, что на улице весна и под лучами солнца начали вырабатываться эндорфины, напрочь исчезнувшие из его

организма. Поэтому-то он и ходил, словно в лёгком наркотическом опьянении.

Ему снова хотелось счастливых изменений, увлекательных путешествий, новых впечатлений. Он как бы начал отторгать то чужеродное тело, ту жизнь, в которую волею судьбы был втянут, как щепка в водоворот. Он перестал видеть, слышать и чувствовать всё, что происходило у него дома. Он словно обрастал непроницаемым свинцовым панцирем, сквозь который не проникали радиоактивные лучи внешней жизни. Он жил в этом панцире, как в коконе, и ему было в нём куда комфортнее, чем снаружи. Он боялся, что его радость могут заметить его близкие, и старательно изображал из себя погружённого в работу и замученного суетой уже немолодого мужчину. Радость медленно росла, словно набухающие почки, грозя в один недалёкий день выстрелить зелёным листком.

Снова чужой дом, который становится опять своим, и хрипло дышащая чужая ему женщина, которой требуется срочно кислородная подушка, — женщина, в одночасье разрушившая его счастье, разделив мир на то, что было вчера, и то, что стало после. Один трагический аккорд. А дальше снова карусель... И новые завораживающие потоки струй, причудливо изгибающиеся в своём паденье.

Одиссею некуда было бежать, кроме как по улицам, втягивая в себя воздух, напоминающий ключевую воду, за которой он так любил ходить на даче. Он и бежал, перепрыгивая через высыхающие лужи и разбрызгивая воду, будто глиссирующий катер...

Ещё можно было убежать в работу. Его затягивало всё глубже и глубже, это было, как налетающая стихия, цунами творчества, гончий азарт охотника, страсть путешественника и мореплавателя.

Он знал, что когда-нибудь вернётся в Итаку, чтобы быть повелителем, а сейчас его звали диковинными голосами сирены, и он чувствовал, что именно его голоса так не хватает в их хоре...

Он не помнил лица Пенелопы. Вместо лица было светлое пятно без глаз и рта — наподобие того, что рисуют на различных сайтах, где люди знакомятся или находят тех, кто давно исчез из их жизни, растворившись в розовом тумане далёкой юности. Но воспоминания о юношеских предчувствиях мучили его, нака-

тывая и накрывая с головой глубокой волной весеннего ветра. Почему предчувствие того, что в жизни состоится встреча, помнится сильнее? Торчит в памяти, как забитый не до конца гвоздь, который ни вытащить, ни загнать по шляпку, чтобы не мешал... Да и была ли в его жизни Пенелопа? Так, грёзы юности о несбыточном, об идеале; все попытки достичь его разбиваются, как волны об острый камень. Ничто не меняется. Вода бежит и бежит, смывая в памяти все лица, которые могли бы стать дорогими.

Почему так хочется бежать от действительности? Ведь Калипсо рядом. Она молода и лишь немногим старше его дочери, и они вместе пережили стихию, шторм, кораблекрушение. Тучи над ними не рассеялись, а висят, закрывая свет, как выгнанная из своего укрытия летучая мышь, слепнущая от обилия яркого света и всех втягивающая за собой в темноту.

Дора любит его, и он — единственная оставшаяся для неё опора в этой жизни, хотя она и хорохорится, что сильная. И только ли жалость да оглядка на людей и на то, что те скажут, выгони он Дору со своим семейством из его холостяцкой берлоги, удерживает его от разрыва? Почему он чувствует себя мышью в захлопнувшейся мышеловке, ненароком сунувшей в неё свой нос? А сыр так вкусно, так аппетитно пах, так дразнил его обострившееся обоняние!..

### 30

**В**ойдя в свой серый подъезд, пропахший кошками, Одиссей простуженным носом вдруг уловил запах костра, в котором горели прошлогодние листья, отсыревшие от таяния глубоких снегов. Их сгребли в кучу и бросили в огонь, чтобы открыть молодую траву и не мешать её росту в небо.

Чем выше он поднимался по лестнице, тем яснее чувствовал, что это не прошлогодняя листва, а какая-то мокрая ткань, источавшая едкий удушливый синтетический дым, который заполнял лёгкие, шекотал нос и заволакивал сознание.

Он быстро побежал вверх, холодея от свинцового предчувствия... В один миг преодолев три пролёта лестницы и с трудом сдерживая в груди сердце, стучащее в грудную клетку так,

что, казалось, оно готово выскочить наружу, дрожащей рукой, подобием выстиранной тряпичной игрушки, повешенной просушиваться на ветру, сунул он в замочную скважину ключ. Ключ никак не попадал в тонкую фигурную прорезь, вставлялся вкривь и вкось, а когда, наконец, вошёл, никак не хотел открывать несмазанный замок. Потом Одиссей понял, что он сунул ключ от внутренней деревянной двери, а открывает дверь железную. Из-под двери выползал едкий дым чёрными кольцами змей, перепутавшимися в клубок...

Когда Одиссей резким рывком отбросил от себя обе двери, то увидел, что Дора стоит в коридоре, окутанная клубами густого дыма, и судорожно крутит диск их старого советского телефона, нервно отыскивая чуткими пальцами ослепшего человека нужную дырочку. Из кухни валил плотный чёрный дым, вызывающий спазматическое удушье.

Звериным прыжком Одиссей достиг кухни, но ничего там не увидел, захлебнувшись и закашлявшись дымом.

Это уже потом, когда приехали пожарные, он увидел оборвавшуюся гардину с оплавленной занавеской; чёрные капли, похожие на застывший гудрон, заляпавшие газовую плиту; выжженные огнём обои, свисавшие с закопчённой оголившейся стены закрученными лохмотьями, будто змеиная шкурка; пол, с которого, словно обгоревшая кожа, сполз ключьями линолеум, ужасая антрацитовыми разводами...

А пока языки пламени, будто дышащая пасть дракона, с весёлым хрустом пожирала всё для них съедобное, что попадалось на пути. Языки пламени плясали, напоминая игру в камине его детства, на огонь в котором он когда-то так любил смотреть. И сейчас он застыл, замороженный пламенем, парализованный, будто укусом змеи, не способный ни на что, кроме мысли, что вот так в один миг сгорает всё, что собирал и копил годами.

Пожарные успели вовремя. Ничего особенно серьёзного не произошло, огонь не перекинулся в соседние комнаты, никто не обгорел и не задохнулся, только осталось это ощущение конца и неотвратимости беды, которую нельзя от себя отвести. Это ощущение стояло колом всё время где-то внутри Одиссея, парализовав все его желания.

До его сознания мало доходило происшедшее... Ну, перекинулся огонь газовой горелки на полотенце, которое служило для полуслепой Доры прихваткой; да, побежал по стене и, достигнув занавески, весело обрушил гардину... Не в этом суть. Суть была в том, что по какому-то злему року в один миг выгорели все его надежды на счастливое будущее, оставив после себя выжженное чёрное поле с недогоревшими головешками, уже не тлевшими и не рождающими никакого тепла. Только чернота, как у Доры, впереди. Без звёздного неба. Даже чёрный скелет дерева за окном было не различить на стене без мутного глаза фонаря...

## 31

**П**ервого апреля Светлана получила сообщение от Одиссея.

**Одиссей:** Какой был полёт во сне! Просто загляденье! Особенно здорово, что постепенно учился работать руками и маневрировать, уходя от электрических проводов. Начал на городских холмах, приземлился где-то на берегу моря. Роскошно! И не разбился.

**Светлана:** Вы в настоящее время занимаетесь психотерапией самого себя? «У меня всё нормально, я молод и глуп, но «прекрасное далёко» впереди, и я смогу достичь всего и даже больше, чем другие, стоит только захотеть...» Вот только хочется уже не всегда. Мешает рюкзак жизненного опыта за плечами. Я играю, как двадцатилетние, во все эти ни к чему не обязывающие и поверхностные беседы в пейджерах в телеграфном стиле: только бы ни с кем не соприкоснуться, пролететь мимо, и почти уверен, что пролечу. Я пытаюсь вскочить с перрона на подножку уходящего поезда — но не запрыгиваю. Поезд всё набирает и набирает скорость, но я опять неловко пытаюсь впрыгнуть в последний вагон. Я бегу от воспоминаний, от своих близких, с которыми жить становится всё тяжелее, от дисгармонии и неустроенности. Бегства только в работу почему-то не хватает. Хочется понимания и любви. При общении «online» меня слышат плохо: то ли туги на ухо, то ли специально закладывают уши и чувства ватой. А я почти кричу: «Привет!» У меня улыбка на лице. Всё будет хоро-

шо. Когда-нибудь. Может быть, на кладбище.

**Одиссей:** Ради бога, не воспринимайте мои слова, как молоком писанные. Иногда, полагаю, бесполезно искать чёрную кошку в тёмной комнате... Или — если хотите — выдумывать новые сущности. Я перед вами открыт, разумеется, до известных пределов. А пределы эти, как и в разводе, дело только двоих. Конечно, «мысль изречённая — есть ложь», но я повторяю: я перед вами открыт.

А двойственное отношение к внешнему миру у меня всегда существовало. Сейчас разве только посвободнее стал. Старые комплексы ушли или значительно меньше стали, а новые на их месте еще не успели появиться. Вы написали письмо, полностью меня разоблачающее. Ну, допустили несколько незначительных неточностей. Всё равно основной текст направлен не в бровь, а как раз в глаз. Вы хотите продолжить общение? А то после вашего письма я страху натерпелся. Но я готов! Что можно прятать за клоунской маской? Страх отвержения, неприятия, недоверие к людям, стыд, в конце концов. Можно вопрос? А как вы прячете эти чувства у себя?

**Светлана:** Заползаю, как улитка, в раковину. Я вообще пессимист.

**Одиссей:** Пессимист или же оптимист, я считаю, каждый человек рассуждает про себя. Человек ведёт себя в зависимости от настроения как тот или другой. Пессимист уже не живёт. Да и зачем когти рвать, когда и так ясно, что будущее ничего хорошего не принесёт, когда весь мир против тебя, ничего в нём не изменишь, когда легче заснуть и не проснуться? Пессимист упрям в своём заблуждении, что мир должен вокруг него вращаться, а если это не получается (а это никогда не получается), то естественный выход — не жить. Или бороться против всего мира. А эта борьба истощает и в конечном итоге заканчивается тем же самым — не жить! Оптимист пытается изменить мир в соответствии со своим восприятием, мировоззрением, а чтобы это сделать, необходимо прислушиваться к миру, слышать его, понимать его в своём жизненном объёме и находить компромисс между тем, что ты хочешь, и жизнью. Тогда есть шанс, что «временное» отступление завершится выигрышем. То есть, в конечном счёте, будут реализованы желания оптимиста. А если у оптимиста не выйдет, то он соч-

тёт, что в чём-то ошибся (ведь всех перехитрить нельзя), делает выводы — и начнет всё сначала или же отступит от воплощения своего желания.

Вывод: пессимист ставит перед собой авантюрные задачи и потом кого-то обвиняет в том, что те не реализовались. А оптимист оценивает риск, свои способности на пути к цели. Пессимист после каждой неудачи в депрессию впадает, не живёт, а оптимист, пока зализывает свои раны, размышляет, где же он ошибся.

На мой-то взгляд, пессимисты — законченные нытики и неудачники, недалёкие люди, ничего, кроме жалости, не вызывающие.

**Светлана:** Пессимисты мне милее. Я пессимист убеждённый, расценивающий оптимизм как недалёкость. Оптимисты, надевающие розовые очки и прячущие голову в песок, чтобы не видеть окружающей действительности и своего будущего, они ведь сильнее всех реагируют на то, что в их жизни произошёл облом. А пессимисты, когда на их голову сваливается снежный ком неприятностей, думают: «Ничего другого я и не предполагал». И уже не так больно. А потом, когда потеплеет и ком растает, — радость: «Жизнь не так плоха, как я предполагал и настраивался».

**Одиссей:** Видимо, пришло время рассказать вам всё о своей жизни.

**Светлана:** А я почти всё знаю, кроме ваших мыслей. Современная жизнь с её возможностями бывать на личных страницах Интернета позволяет подглядывать в замочную скважину. Можно даже мысли подглядеть, только если человек хочет ими делиться, выставлять на всеобщее обозрение. Вы вот не всегда делитесь. Но всё равно о многом догадаться можно.

**Одиссей:** Остаётся только набираться мужества и всё это терпеть, терпеть и терпеть — и нет всему этому ни конца, ни края. Но каждому на роду выпадает какое-нибудь горе... Очень боюсь, что настоящее моё горе — ещё впереди, и надеюсь, что это не так.

## 32

**В**сё вернулось на круги своя, преждевременная весна сменилась апрельскими розами. И хотя было ясно, что это ненадолго, что лето уже не за горами, возврат холодов как бы подрезал Светлане крылья, опустил ее на

землю. Стоит ли совершать перелёт в родные края, если туда вернулась зима?

Весной всегда ощущаешь себя как витязь на распутье. С одной стороны, жаждешь перемен, а с другой, на эти перемены просто не остаётся ни времени, ни сил. Вся — словно выжатая тряпка. Даже лета уже не хочется.

Она опять перестала чувствовать свой возраст. Хотя все о нём знают, но ты пока прячешь голову под крыло, как страус, гордо стоя на одной ноге.

Светлана теперь редко вспоминала мужа, вернее, вспоминать-то вспоминала, но как какую-то икону, которой можно поклоняться. Он почти ушёл из её сновидений, лишь иногда выныривал из тяжёлой толщи сна... И тогда она пугалась своего непонимания, что это сон... Впрочем, иногда в её снах появлялись и её родители, и бабушка, и дедушка: они жили там в реальном времени, и, когда она просыпалась, долго не могла понять, как же она только что с ними разговаривала, ведь они умерли. Но во сне они были молодыми и живыми. Сон проделывал с ней какой-то такой фокус, что она переставала помнить о том, что они умерли.

Сегодня она проснулась в ожидании счастья. Она сидела на дачном крыльце. Поздним августовским вечером. Над головой был огромный колокол звёздного неба, в бездонность которого она так любила смотреть в начале августа, пока ещё не зарядили дожди. Ощущение того, что это последние тёплые дни, было настолько сильным, что хотелось плакать. По саду разливался сладкий запах переспелого розового налива, который с мягким стуком то и дело падал на землю, выводя её из оцепененья. Муж сидел рядом. И это ощущение тепла, надёжности руки, которой он обнимал её, отводил грядущую осень, было настолько реальным, что она подумала: «Значит, чудо возможно. Это ничего, что у природы осень, время года — в нас самих».

Она медленно возвращалась в холодный мутный рассвет, означающий настырный звонок будильника, рвущий иллюзии, и начало трудовой суеты. Но ощущение счастья всё равно просачивалось из сна, как будто солнечный луч в щель не наглухо задёрнутых занавесок, оставляющий полоску света на разошедшихся паркетных досочках. Как будто ничто уже не могло отменить этого счастья, как будто оно



было предрешено свыше, как и всё то, что с ней происходило раньше. Странно... Муж умер. Впереди медленное угасание, одиночество и безрадостная немощная старость на захламлённых задворках жизни, где всё давно поросло лопухами и верблужьими колючками, цепляющимися за тебя и напоминающими в любой обстановке о том, что впереди будут только они, эти маленькие колючки, запутавшиеся в твоей памяти и вызывающие боль о несбывшемся и несостоявшемся.

Она в третий раз за эту зиму (весна теперь казалась ей продолжением зимы) переносила грипп на ногах: мутно болела голова; слезились, как от едкого газа, глаза; ныли и отекали ноги, которые она закидывала, придя домой (благо её никто не видел), на стол или высокую тумбочку, а своё ватное тело располагала в кресле. Из распухшего носа текло, в горле першило, ничего не хотелось делать, и она через силу с инерцией автомата заставляла себя выполнять отлаженную программу. На работе она всё время была как туго закрученная пружина, готовая сорваться и выпрямиться в полный рост, а дома её крепёж слабел, из глаз, как из форсунки, постоянно брызгала солёная влага.

Она чувствовала себя железной и неживой, которой заказано даже уйти на больничный, чтобы иметь хотя бы краткую возможность чуть-чуть отоспаться и отлежаться под мягким одеялом.

И тут вдруг какой-то мутной волной вынесло на берег из глубоководной памяти строчки из Дориного дневника: «Болезнь — иногда счастье. Болезнь — это чай в постель с малиной, мёдом и оладушками. Это — ничегонеделанье. Это — любимый рядом».

А вот рядом с ней никого. Тишина, от которой закладывает уши. Иногда она начинает думать о старости: как так получилось, что её старость будет безрадостна и пустынна? Хорошо, если она сможет ощупью по стеночке дошаркать до кухни и туалета, а если нет? Она задвигает эту пока не очень её тревожащую мысль подальше и вздыхает, что она уже никогда не напишет такого, как Дора. Странно вообще слышать это из уст слепнувшей женщины. Любимый рядом — это счастье... Но болезнь — это разве счастье? Не было бы счастья, да несчастье помогло? Можно и в кромешной

темноте купаться в лучах света и нежности? Болеть с блаженной улыбкой на лице — улыбкой от того, что тебе несут чай в постель?

Хорошо бы умереть легко, как муж или мама. Лучше, как мама, сесть на кафедру после лекции на стул — и умереть. Никого не измучив и сама не поняв, что всё — черта подведена. Десять минут — и тебя уже нет, и приехавшая «скорая» только констатирует факт и вызывает другую бригаду. Но она знает откуда-то, что это не её вариант, о её варианте вообще лучше не думать.

Её любят на работе. Если на работе вообще можно кого-то любить... Скажем так, к ней относятся нейтрально, терпимо. Она иногда выбирается вместе с коллегами в театр или на концерт, но про себя знает, что, возникни конфликтная ситуация на службе — её подставят и сдадут. Сегодня ты сидишь вместе с ними в кино, упиваешься высотами человеческого духа, а завтра пишешь объяснительную, потому что твоя вчерашняя спутница пожаловалась на тебя начальству, хотя можно было никому ни о чём не говорить... Интересно, это только у русских так заведено? Во все времена: и в 37-м, и в начале 50-х, и теперь... Сегодня это называется «борьба за выживание». Или все её коллеги настолько чувствуют себя несчастными и уязвимыми, что любой маленький реванш, когда другой низвергнут наземь и его пинают и топчут ногами, возвышает их в собственных глазах? Добиться и добить имеют один корень?

Раньше люди раскрывали душу случайному попутчику под стук колёс, монотонно твердящий: «Это всё временно. Скоро новая станция. Новый пейзаж, и твой недолгий попутчик скоро выйдет в незнакомом тебе городе, в который ты вряд ли приедешь когда-нибудь; окупнется в свои заботы, нахлебавшись холодной мутной воды, и даже не вспомнит о тебе никогда и мимоходом. Не отложится в памяти ничего из того, что выплеснул на него гелевыми чернилами. Обесцветится на свету. Сотрётся из памяти, как с магнитофонной ленты». Это почти всегда знал тот, кто наспех, торопясь, выворачивал наизнанку, швами вверх, душу. Но всё равно спешил, захлёбываясь, рассказать о том, в чём мог признаться лишь себе. Стягивал с лица приросшую к нему маску, такую привычную обступившим его плотным кольцом людям, по которой его иденти-

фицировали и без которой он боялся упасть в грязь. Зачем? Откуда внезапно возникало это желание рассказать свою жизнь, малоинтересную окружающим, которые всё равно никак твою жизнь в другое русло не повернут? Почему после того, как забродившие прошлое и настоящее, вырвавшись из-под плотно пригнанной крышки, выливались на случайного попутчика, вероятность встречи с которым в этом мире ещё раз стремилась к нулю, с души сваливался камень, будто груз для квасящейся капусты? Словно выпускали из закупоренной, неплотно закатанной банки газы брожения, распиравшие эту банку, грозя её разорвать. Почему дышалось потом легко, будто после грозы, когда давление и жара, разразившись ливнем, спадали?

Светлана подумала, что Интернет — это тот же поезд: за окнами бегут неизвестные тебе станции; мелькают своими похожими стволами перелески; проблёскивают лужицы застоявшейся воды, словно солнечные зайчики от водительского зеркала; дымят чёрными трубами городишки: дым рассеивается и исчезает, как наши воспоминания.

И всё больше людей упорно ищут случайного попутчика, родственную душу в надежде, что хоть кто-нибудь услышит их «птичий язык». Рыщут, накрыв лицо таинственной карнавальной маской или ажурной вуалью, из дымки которой вырывается душа со всеми её тревогами, обидами, надеждами, тоской и печалью о том, что ты так и не был услышан, и одновременной боязнью быть прочитанным окружающими тебя в реальном мире.

Всё больше пожилых пытаются поведать миру в различных блогах о своей брэнной жизни, нелёгкой, но набитой событиями, как кошёлка на рынке, в надежде задержать мгновения, утекающие, как песок между пальцев, чтобы быть развеванными по ветру. Ну, а молодые... Это не время проходит, проходим мы. Скоро и они будут читать свои записи и думать: «Ну и дурак же я был, но как искренне верил в «прекрасное далёко», которое не состоялось». Не так далёк тот день, когда они будут смотреть на лица своих постаревших одноклассников и радоваться, что через столько лет можно запросто найти человека из своей юности.

И всегда можно просто исчезнуть, удалить-

ся, сойти на ближайшей станции, потеряться в сетях и не вернуться туда, откуда начинал свой путь. Вы меня услышали? Спасибо вам. Но меня уже нет, я высадился. Не догонишь... Как полёт облаков, как тени от ветвей на стене, по которым хлобыщет ветер...

А близкие рядом... Застегнёмся на молнию, для надёжности накинув сверху ещё и крючки; выстроим хотя бы гипсокартонную перегородку, создающую иллюзию отгороженности...

В юности она очень любила вечернее купание в заходящем солнце. Она раздевалась, чувствуя босыми ногами остывающую землю и уходящее из неё тепло, осторожно входила в воду, поёживаясь, пока вода не начинала бережно гладить её бёдра, а затем бросалась в неё, задерживая дыхание, отрываясь от земли и отдаваясь в её могучие руки. Она плыла по огненной или янтарной полоске света, раскатанной ковровой дорожкой, стараясь плыть прямо по ней, никуда не сворачивая. К её счастью, выходило так, что дорожка никогда не убегала далеко в море, а всегда держалась береговой черты. Она плыла спокойно и безмятежно, думая о том, что вот эти мгновения скоро кончатся и лето проходит... А пока надо просто жить и наслаждаться этим безвременьем и праздностью. Она плыла, ни на шаг не приближаясь к ярко-огненному раскалённому шару, хотя её и не сносило назад течением. Дорожка почти всегда медленно выгорала, как свет в фонарном луче, когда садится батарея; огненный шар западал за серую мутную кромку горизонта, и она поворачивала назад. Возвращение было неизбежно и предрешиено. Она быстро выходила на берег, насухо вытиралась, в оседающих сумерках переодевалась в сухое — и легко шла в гору, чувствуя себя отдохнувшей и обновлённой. Всё окружающее на глазах теряло свои очертания, а цвет пропадал, будто накрытый угольной пылью. Но ощущение того, что завтра солнце легко смоем эту пыль, было удивительно в своей неповторимости.

<http://www.odnoklassniki.ru/>

**Одиссей:** Лучше потерять одного, чем быть одному.

## 33

Даша долго всхлипывает, радуясь тому, что стук колёс заглушает её сдвленные рыдания, а соседи и на нижней, и на верхней полке, что напротив неё, храпят, как ветер в трубе завывают, словно слоны трубят, завидевшие самку.

Даше больше не хочется приезжать к отцу. Ей там неуютно. Она там в гостях. Но это ужасно: жить в гостях там, где прошло всё твоё детство. Зато отец теперь часто наезжает к ней в Москву, гораздо чаще, чем раньше, будто бежит из дома.

Она его как-то спросила:

— Папа, ты же не чувствуешь себя счастливым, тебе плохо?

Он усмехнулся и ответил:

— Знаешь, малыш, птицы не виноваты в том, что свили гнездо в зелёной кроне, а пришла осень. Каждый день дует ветер, а высохшие и пожелтевшие листья опадают. А гнездо остаётся висеть, открытое всем ветрам. С перебитым крылом на юг не улетают.

Как она ненавидит эту Дору! Ей даже страшно становится, как она её ненавидит. Так округить и исковеркать жизнь отца! Она её сразу невзлюбила, хотя все думали, что они почти подруги. Глупые люди! Даже ему все говорили: «Как тебе повезло с дочерью: всё понимает». Но как мог её мудрый отец притащить к себе эту девицу без прописки и работы, у которой только и была цель обустроиться. Да, Даша изображает жалость и сочувствие, а в глубине души ненавидит эту его подружку.

Неужели мы все так двулики? Под маской благодушия скрывается наша чудовищная сущность. Не будите раненого зверя. А чем её ранили? Разводом родителей? Жизнью вдали от очень любимого человека, отца? Тем, что приходится с шестнадцати лет подрабатывать, чтобы сносно жить? Или это лишь подсознательная женская ненависть к существу, которое безразлично любимому?

Почему папа, который был самым родным человеком, хотя и не жил с ними давно, но всё равно был роднее мамы, стал чужим? Ей даже говорить ему ничего не надо было. Так он понимал её... А теперь от него веет каким-то холодным ветром, относящим её крик в сторону. Вернётся ли к нему из этой пустоты хотя бы её слабое эхо, когда её вопль, наткнувшись на стену, отлетит,

как мячик, догадкой, что его родная дочь, дорожке которой у него всё равно никого нет, заблудилась в тёмном лесу, потерялась в бегстве от диких зверей, терзающих её ещё незрелую душу?

По стене бегут огни пробегающих станций, прочерчивая стены неверными, в мгновение исчезающими лучами. И опять возникают новые жёлтые полосы, пляшущие в дикой пляске под бубны шаманов и напоминающие о том, что всё в нашей жизни быстротечно и неуловимо.

## 34

Ах, как Дора любила театр теней, когда лиц не видно, а только движение... Только догадка, только предчувствие. Это — как танец, пантомима, балет, только чётче и резче, как рисунок грифелем или углем по белому ватману... Это когда цвет совсем не нужен, он только мешает, только отвлекает... Когда важна сущность, а не детали. Это полёт в невесомости, когда и сам становишься почти прозрачен и бесплотен.

Почему ей так нравился этот театр? Как будто знала, что из её жизни может исчезнуть свет. Привыкала к отсутствию цвета, когда правит царство теней. На тень можно наступить, но убежать от неё нельзя.

Она как-то уже давно, в начале её совместной жизни с Одиссеем, увидела Дашины фотографии. Сказала ему тогда: «Что, у неё нет цветного фотоаппарата? «Мыльницу» хотя бы подарил ей, что ли? Ребёнок видит жизнь в сером цвете!» Она не поняла тогда ничего. Но потом как-то в отсутствие домашнего, так она его называла, она вернулась к этим фотографиям и осознала, что в них было что-то такое, что заставляло к ним вернуться. В них был свет, но свет этот шёл откуда-то изнутри, как из-под закрытой двери пробивался; словно из глубины подземного грота, в который хотелось заглянуть. Фотографии манили своей неразгаданностью, притягивали тайной, которая пряталась в уголках губ, сложившихся в полуулыбку. И она поразились тогда тому, что эта девочка, которая была всё же больше чем на десятилетие моложе её, могла знать эту тайну, постигнуть которую было выше Дориных сил. Такое же чувство неразгаданности возникало у неё и когда она смотрела спектакль в театре

теней. Мечутся по стене тени, как птицы, и не видят лиц друг друга — так у многих не бывает лиц в различных чатах — даже маску надевать не нужно, чтобы спрятаться за неё. Всё обнажено, все нервы оголены, как на рентгеновском снимке или УЗИ.

А она теперь свет видит, различает цветовые пятна, а вот контуры и очертания потеряны... И их дом превратился в театр теней, где лица скрыты, как у невидимых собеседников в Интернете, тех, кто не хочет показывать своих лиц. Лицо открывать — это опасно, становишься слишком незащищённым.

А на компьютер ей Одиссей установил программу, которая монотонным, неживым и дребезжащим, словно заржавленный механизм, голосом читает ей вслух веб-страницы. Это Доре помогает, но она всегда чувствует себя голой и незащищённой даже в наушниках: а вдруг кто-нибудь услышит, по каким дорожкам она прохаживается.

А ходит она к своим друзьям, что не знают о её горе, так как живут далеко, в чужих странах и на незнакомых ей землях. И говорит она с ними, как будто летает на сцене, играя в театре теней. Танец завораживает и затягивает, как сон, она погружается в сновидения и не видит ни зрителей, ни партнёров. Только полёт! Только полёт! Волны тёплого воздуха подхватывают её, будто руки прогретого моря, и она плывёт... Она плывёт, как плыла её мама.

Мама в детстве всегда восхищала её. Она была такая красивая, так нарядно одета, всегда так вкусно пахла какими-то диковинными ароматами, неуловимыми, как солнечный зайчик на шершавой стене, кружащими ей голову и будящими непонятные желания.

Она так любила в отсутствие взрослых прокрадываться в мамину комнату и примерять её концертные костюмы. Особенно ей нравились те, про которые мама говорила, что это для танцев фламенко. Юбки для этих танцев напоминали гофрированные бумажные новогодние гирлянды. Она залезала в такую юбку, подвязывала её шёлковым шарфом и гордо выхаживала перед зеркалом, подметая юбкой весь пол их нечасто прибираемой квартиры. Потом подходила к комоду, открывала по очереди красивые разноцветные флакончики с туалетной водой, которых обычно было несколько, и осторожно

прыскала себе на волосы, одурманиваясь их разливающимся ароматом. Затем наступала очередь примерять парики. Особенно ей нравились те, что с длинными прямыми волосами, такими мягкими и совсем не похожими на её нерасчёсываемую копну, напоминающую мочалку для мытья сковородок. Она танцевала по комнате и знала, что когда-нибудь будет парить на сцене, окруженная юпитерами и поклонниками, складывающими под её ноги цветы.

Быть танцовщицей ей запретила мама, когда при осмотре у окулиста у неё обнаружили предпосылки к её нынешней беде: прыганье ей было заказано. Как она её тогда ненавидела за это! Она вообще не терпела ни малейшего покушения на свою свободу ещё в детстве.

Уже студенткой она всё же записалась в студию ирландских танцев. Тайно от родителей. Она знала, что на профессиональной сцене ей не танцевать, но так хотелось побыть птицей, ощутить ветер перемен и парение над суетой... Освоив пластику и душу танца, она стала жить с той лёгкостью, что ощущала в вихре пляски. В ней поселилась музыка, рождающая полноту счастья и чувство неповторимости бытия.

А тогда в детстве она тихо плакала, отвернувшись к стене, на которой тени веток с отживающими листьями, освещёнными тёплым янтарным светом фонаря, похожего на луну, только не распластанную и приклеенную к небосводу, а объёмную, — двигались в диковинном языческом танце. Она всхлипывала в подушку и ненавидела маму, которая, благоухая неземными ароматами, брала в руки чемодан и, ласково поцеловав дочь, уезжала на гастроли.

Какое-то непонятно откуда взявшееся чувство говорило ей, что мама рада, что танцевать Дора не будет никогда, и мама всегда будет в полёте на той высоте, на которую Дора посягнуть не посмеет.

Мама просто не даст ей подняться на её высоту. Её властность и взгляд свысока на них, детей, мешали Доре расправить оперяющиеся крылья. Она чувствовала необычную внутреннюю свободу и полное отсутствие воздуха даже чтобы дышать, а не только чтобы летать. Она втайне примеряла на себя мамины платья и мамины танцы, боясь быть застигнутой врасплох не только за примеркой нарядов, но и тем, что её мысли прочитают. Дома ей всег-

да хотелось съёжиться до размеров булавочной головки, которую не замечают. Тогда она чувствовала себя в безопасности и потихонечку пробовала расправлять крылья.

Именно поэтому, как только она устроилась на работу, Дора ушла из дома, ушла со скандалом, объявив о своём совершеннолетии и свободе — свободе не только внутренней, но и внешней, сняв недорогую комнатуху на окраине города, где она больше не чувствовала себя со спелёнатыми крыльями.

В первое время она пошла вразнос. Ходила на ночные дискотеки и в ночные клубы, стала завсегдатаем ресторанов и кафе, приглашала к себе шумных друзей.

Но мама звонила ей, надрывая мобильник, стояла под дверью и ждала, когда Дора придёт. Смешно! Большинство её знакомых родители отпускали куда глядят их глаза и рвётся их душа.

Отчасти поэтому она и кинулась в чужой город к Одиссею. Ей показалось, что это будет бегство в другую, свою новую, взрослую жизнь, где родители будут далеко, а у её мужа хватит ума и терпения перешагнуть через власть её близких.

Она и была с ним счастлива. Конечно, между ними был какой-то барьер, психологический. Она никогда не могла с ним общаться так легко, как со своими мальчиками. Он относился к ней во многом как к ребёнку. Но в нём совсем не было диктаторства, как в маме. Одиссей чем-то напоминал ей отца, который почти совсем исчез из её жизни, посылая только изредка письма и фотографии. Правда, иногда Дора могла услышать его голос, но эти пятиминутные междугородные разговоры не приносили ей ничего, кроме ощущения пропажи, когда вместо человека остаётся телеграфный бланк от него.

Её очень удивляло и обижало бегство Одиссея из их совместной, казалось, тогда ещё очень счастливой жизни, когда просто радуешься, что любимый человек рядом. Но он снова собирался — и уезжал в командировки длиной от недели до года... Больше всего её обидели эти две его командировки на несколько месяцев за границу. Нет, он, конечно, ей звонил и говорил с ней из-за океана чаще и дольше, чем папа, но её не покидало ощущение, что его жизнь — там, а не с ней, такой молодой и красивой. Он присылал ей по электронной почте фотографии бескрайнего океа-

на, но какого-то чужого — серого и безжизненного. Но Одиссей писал, что ему всё там у океана нравится. Она обиделась тогда и спросила:

— Даже моё отсутствие?

А он ответил:

— Малыш, человеку свойственно убежать от судьбы, чтобы побыть наедине с собой.

Она не поняла тогда, что он хотел сказать. Да и сейчас не совсем понимает, но чувствует, что разгадка близка, она мучает её, как назревающий чирей. Хочется всё время возвратиться — потрогать набухающий и твердеющий прыщик: не созрел ли? Сколько будет ещё расти и болеть?

Но ведь она в отсутствие Одиссея тоже жила своей жизнью и радовалась, что может ею жить? Снова ходила в ночные клубы и на дискотеки, в кафе и в рестораны, в театры и на концерты. Записалась в кружок танцев народов Севера... И никто из её родных об этом не знал и потому ей не мешал. Она была свободна, как птица... но догадывающаяся, что возвращенье в родные края неизбежно.

И вот теперь мама лежит на сбившейся простынке в соседней комнате, в чужом ей доме, на окраине жизни, улететь из которой можно только в одном направлении.

А Дора снова связана по рукам и ногам тем канатом, оборвать который не только невозможно, но и просто нельзя. Как тогда и с каким сердцем жить дальше? Почему судьба, послав ей Одиссея, сразу же у неё так много забрала взамен?

Инсульт у мамы случился на гастролях, когда она, прожив краткую жизнь диковинной птицы в малиновом оперенье, махнув развевающимся огненным крылом, наступила на шлейф своего чарующего летящего наряда и рухнула, сражённая выстрелами аплодисментов. Подняться она уже не смогла. Её унесли со сцены перепуганные коллеги под перекрёстный шквал аплодисментов, доносящийся из-за спешно задёрнутого занавеса, казалось, стекающего в зрительный зал и разделяющего жизнь на ту и эту.

Светлана проснулась посреди ночи от того, что пристальный лунный свет вглядывался ей в глаза. Она зажмурилась и инстинктивно заслонилась от него ладонью, как от солнца, затем

перевернулась к стене. И проснулась. Вместо чёрного скелета обугленных ветвей она так ясно увидела, что ветка ощерилась маленькими копьями листочков и была похожа пока на колючую проволоку, за которую путь заказан.

Но она знала, что это уже ненадолго. Наутро она шла по зазеленевшей улице и улыбалась тому, что так внезапно в одну ночь всё переменялось. Тополя распушились ещё клейкими свежими листочками. Она улыбалась тому, что всё шло своим чередом. Ей навстречу в обнимку шли двое, по-видимому, проглядевшие на лунный свет всю ночь, по возрасту напоминающие ей её нерождённых детей, и она снова подумала, что её жизнь уже пошла на убыль. И ничего-то уже хорошего в её жизни не будет никогда...

Лето всегда приходит внезапно, когда его уже и не ждёшь. Вот уже и вишнёвый цвет на ветвях. И листьев-то настоящих нет, но голые ветви все за ночь стали усыпаны розовым цветом, совсем не думающим о том, что холода могут вернуться. Деревья почувствовали душное тепло — и за день их почки набухли и раскрылись, чтобы дать завязь плодам... И никто не хочет верить в заморозки, которые обещают синоптики.

Светлана привстала на носочки, дотянулась до ещё не отягощённой плодами ветки и обломала её, чтобы поставить дома в вазу обработать листочками и беречь душу мыслями об ушедшей молодости.

У неё было «никакое» настроение. Она чувствовала себя какой-то неживой шестерёнкой, несущей важную функцию, без которой отлаженный механизм выходит из строя. У неё не было своей жизни, а была работа, из которой вырваться даже в майский отпуск на праздники не получалось. Она уныло спрашивала себя: «Для чего это и зачем? Для чего это буйное цветение, берящее душу, если душу лучше не растревлять, коль ты ничего не в силах изменить в своей жизни. Надо просто жить, не оглядываясь...»

В праздники она побывала на кладбищах у родителей, бабушки с дедушкой, мужа... Она красила резную оградку и думала о том, что человек так быстро привыкает к исчезновению из его жизни самого дорогого. Она давно не была на природе. И почему-то вместо печали испытывала странное чувство эйфории от

свежего воздуха, наполняющего её лёгкие... Ласковый солнечный ветер дул ей в лицо, пахло некошеными травами, и хотелось бежать скорее куда-нибудь на дачу.

Частокол почти одинаковых крестов свежих осевших могил пугал своей необозримостью. Казалось, что даже до конца квартала, в котором выросли памятники, чем-то напоминавшие ей обугленные деревья, не добрести никогда. Она испугалась, что заплуталась — и не сможет засветло выбраться из этого квартала. Кресты были так похожи друг на друга, что становилось страшно от мысли, что под ними лежат совершенно разные, столь отличные друг от друга люди, которые теперь уравнины в своих возможностях и отсутствии желаний. Её поразило, что очень много молодых... Ей показалось, что здесь каждый второй — молодой... А если в могилах так много молодых, значит, с нашей жизнью что-то не так? Ведь не война же. Там всё понятно, как бы бессмысленна и жестока ни была война. А почему так много погибших в расцвете лет без войны? Почему так много матерей, переживших своих детей и обречённых на одинокую старость, как и она, не проведшая ни одной бессонной ночи у кровати ребёнка?

Почему она, ещё молодая женщина, должна стареть в одиночку и её любимый никогда не увидит морщин на её лице? Их нанесёт не он, прочтут другие...

И стоит ли рваться ввысь, пытаться чего-то достичь, чтобы быть подстреленным в полёте?

Но солнце было по-летнему приветливо, и боль задвигалась глубоко внутрь, чтобы потом вынырнуть где-нибудь в бездонной ночи, когда тревожный лунный свет начнёт заглядывать в окна.

### 36

**В**сё, больше дома Одиссей находиться не мог. Так бывает. Ему постоянно теперь казалось, что стены вздрагивают, чувствуя уже не первые подземные толчки набирающей силу катастрофы, и ещё мгновение — и он окажется заживо замурован в бетонном саркофаге.

Полтора года тому назад он решил, что больше путешествовать ему не придётся никогда. И вот

он сидит в автобусе, рядом в кресле дремлет его дочь со своим молодым супругом, и он думает о том, что всё ещё не так плохо, раз ещё можно сорваться с круга...

За окном открывается панорама гор во всём своём великолепии водопадов и заснеженных вершин, которые ещё не начали лизать тёплым языком солнечные лучи, а только пока оценивающе их осматривают. Да и тают ли эти снега вообще? Или остаются вечно в поднебесье, не желая сливаться с голубой водой озёр и терять по каплям свою сущность? Вот и «сказочный король» Баварии Людвиг II так и остался жить один в своих чарующих замках, затерянных в облаках и смотрящих прямо в кипящую воду водопада... Не потому ли, что боялся утратить свою целостность в побеге за шлейфом женского платья? Всё — как в сказке, из которой возвращение неизбежно, ты об этом знаешь, но до этого ещё пока далеко...

Глядишь немигающим взглядом на мощный поток Рейнского водопада и думаешь, что сопротивляться течению вот этой ревущей воды бессмысленно. Чему быть, того не миновать, и не стоит тратить силы даже на то, чтобы прибиться к берегу. Бессмысленно.

Даша боязливо ходит по плоскому камню, обкатанному летящими день за днём брызгами... Каменная площадка, сплошь залитая обжигающе ледяной водой... Она осторожно ступает, боязливо заглядывая через ограждающие перила в кипящую воду; потом так же медленно, будто идёт по жёрдочке над бурлящей стихией, подходит к любимому... Он обнимает её за плечи, как бы пытаясь сказать: «Не надо и близко подходить к этому сумасшедшему потоку... Ну, разве взглянуть одним глазком, ну, только один кадр на память сделать, чтоб знать, а не догадываться о тех вещах, которые надо обходить стороной...» Эти двое стоят, слившись в одну тень, а Одиссей чувствует себя почему-то одиноко и беззащитно, будто находится на голом осеннем поле, заросшем лебедой и чертополохом... И тени от него нет вообще, поскольку солнце не пробивается сквозь свалывшийся серый ватин облаков.

Ощущение, что ты всего лишь песчинка мироздания, вернулось к нему... Оно преследовало его и когда он плыл над бездной — в люльке цвета пожарной машины — на вершину скалы,

чтобы потрогать рукой никогда не тающие снега... Только что ведь было совсем тепло, в рубашке ходил! Полчаса восторга — и вековой холод, изваявший ослепляющие красоты, высекающие из глаз ядовитые слёзы.

...А потом был Ченстохов с его храмом монастыря Паулинов... Со всей Европы съезжаются сюда люди, чтобы загадать желание, которое должно сбыться непременно... Надо только дожидаться открытия чудотворной иконы Чёрной Мадонны — и тебя услышат. Сколько здесь оставленных костылей, пролитых слёз и распустившихся, как цветы по затянувшейся осени, улыбок!

Одиссей смотрел, как медленно опускается золотой щит, открывая лик плачущей Божьей Матери Ченстоховской, и вдруг неожиданно для себя попросил, что он хочет стать снова счастливым и самореализоваться. Попросил — и сам испугался этих своих подспудно всплывших желаний... Нет, он искренне собирался молить Богородицу о прозрении для Доры до конца её дней, а также лёгкой и скорой смерти для её мамы (если сможет решиться произнести хотя бы про себя это желание...). Но почему-то, стоя в одурманивающей духоте, пропахшей воском и благовониями, сдавившей голову тяжёлым обручем, который, казалось, кто-то продолжал стягивать гигантскими болтами, почувствовал, глядя на проползающих на коленях под алтарём детей и взрослых, такое напряжение, что что-то в нём незаметно отключилось... Он был близок к обмороку и думал только о том, как бы не осесть тяжёлым кулём, зажатым потными людскими телами, на холодный каменный пол, отшлифованный миллионами ног и колен. Ведь не должен же здесь он был упасть, наоборот, тут люди встают на ноги и расправляют крылья!

## 37

**В**от он и снова дома... Как хорошо, когда тишина и никого нет... Дора сорвалась к друзьям в Москву, положив в больницу мать. Только вещи все разбросаны. Ну, ничего, он сейчас приберётся. Свободной жизни у него остаётся почти двое суток. Ах, хорошо, как в сказке очутился. Думал, что уже и не побывает никогда.

Как незаметно прибыл день, сумерки набегают поздно, светает рано, а в жизни его становится всё темнее. Словно разрослись стволы леса, что из светлой берёзовой рощи плавно перетёк в непролазную чашу, почти не пропускающую свет сквозь свои густые кроны. Прохладно. И только по голубизне неба можно понять, что солнце ещё высоко.

Он набрал номер Светланы и позвонил.

Её голос вдруг показался ему полноводной рекой, в которую можно окунуться — и отдаться воле её течения. Он успокаивал, расслаблял, ласкал. Ему показалось, что он плывёт, наслаждаясь тем, что плывёт по течению, не напрягаясь, не стараясь справиться с потоком воды и встречным ветром, что овеивает лицо. Он плывёт безмятежно и наблюдает бег кучевых облаков, похожих на стадо белых барашков, из шерсти которых можно связать носки.

...И вдруг подумал, что жизнь продолжается, если эта женщина, которая на закате молодости похоронила любимого, так спокойна. Может быть, это уже старость с её отсутствием желаний, когда ничего не надо? Как заведённые часы, которые отзвонили сколько положено и спокойно тикают в тишине.

Но если это так, тогда почему старики так цепляются за близких?

Через два часа он сидел у Светланы и ловил себя на мысли, что ему совсем не хочется возвращаться к себе домой. И действительно, почему возвращение неизбежно? Почему в этом тёмном туннеле-лабиринте, в котором он уже давно плутает, не может забрезжить просвет, почему лишь тёмная паутина свисает с его потолка да летучая мышь хлопает где-то крыльями, о чём догадываешься по странным звукам, будто полощется бельё на ветру?

Позвякивала ложечка в стакане, мешающая сахар, и так легко было просто молчать. Его пока понимали без слов. И не хотелось думать о том, что завязываемые узлы часто приходится разрубать. Сейчас ему хотелось зубами рвать канаты, ведущие к якорю, глубоко закопанному в песок. Не сам ли зарыл? Даже ничего можно было и не рассказывать о поездке.

Ложечка брэнчала о стакан. Повествуя о путешествии, Одиссеей опять, как павлин, распушал хвост и старался увидеть себя со стороны. В раскрытую дверь балкона залетал первый

тополинный пух. Он поразился тому, что всё наступает так быстро. Вот и пух тополинный полетел... То, что вчера казалось тяжёлым и важным, пригибающим к земле, становилось прозрачным и невесомым, гонимым лёгким дыханием ветра.

Ему захотелось потрогать первую седеющую прядь ещё молодой женщины, погладить рукой, почувствовать губами, накрутить на палец.

Женщина улыбалась. Чем сильнее она улыбалась, тем резче становились лучики, бегущие от глаз, словно веер...

### 38

Дверь хлопнула, будто выстрел какой из дробин, заряженного холостыми патронами, чтобы поугагать... А вдруг не холостыми, а вдруг это серьезнее? Просто пуля пока пролетела мимо... На пол с привычным грохотом посыпались из косяка куски штукатурки, будто от бомбёжки какой... А любимый действительно домой не торопится... А за окном осенний дождь и холод, хотя почему-то всё цветёт, как в том мае, когда они встретились, и стоит тот же одуряющий запах, будоражащий душу предчувствием перемен. Но почему ей этот запах напоминает сад на кладбище, когда они ездили в мае устраивать могилы бабушки с дедушкой, красить облупившиеся за зиму кресты и ажурную вязь оградок?

Доре уже давно казалось, что они живут, будто на расколоте льдине. Льдина треснула — и они оказались по разные стороны от пугающей чёрной ледяной бездны. Они видят ещё друг друга, даже могут дотянуться кончиками пальцев, но перепрыгнуть на соседний кусок льда? Нет, это чревато тем, что оба окажутся в ледяной воде, от которой заходится дыхание, сводит всё тело и останавливается сердце. Они хорошо видят, как медленно их относит друг от друга, но пытаются примириться с этим. Вот сейчас один из них попадёт в несущийся весенний поток... И всё... Скроется из глаз другого... исчезнет, растворится в океане забвения, как и не было ничего... Как и не было сбившегося дыхания, которое одно на двоих; как и не было ослепляющего фейерверка огней, взрывающихся в груди сотнями малень-



ких петард, когда хочется весь мир обнять от захлестнувшего счастья... Как и не было чувства, что чудо возможно... Чудо невозможно... Чудо — это наша иллюзия, которой мы себя лечим, чтобы выжить... Как в детстве верят сказке с хорошим концом...

Мама по-прежнему лежала, как бревно. Раз в месяц вместе с Одиссеем и соседом они стали перетаскивать маму в ванную. Маму намыливали детским шампунем на поролоновой губке и поливали из душа. Мама блаженно улыбалась, невразумительно мычала и строила звериные гримасы, мотая головой, когда душ прекращался. Как только на неё направляли снова струю воды, она начинала улыбаться и причмокивать, как младенец. Когда её вытаскивали из ванной, она, как могла, сопротивлялась всей своей тушей. На дачу в этот год поехать Дора не смогла, не решилась тащить с собой маму, для «скорой помощи» туда дороги нет.

Одиссей уехал на дачу один. Он был очень оживлён и насвистывал мелодию «Пусть бегут неуклюже...». Два раза в неделю он звонил и справлялся, как у них дела. На остальное время отключал мобильник и говорил, что у него от сырости садится батарея. Да и вообще — он в саду и на реке и носить мобильник ему не с руки.

Однажды вечером в открытое окно в её комнате, которое старались летом не закрывать вообще, чтобы выветрить запах, пропитавший стены, залетела бабочка-траурница. Она полетела к маминому лицу и села прямо на лоб, сложив свои крылья из бархата цвета антрацита, словно примерная девочка-первоклашка, складывающая перед собой на парте руки, одетые в чёрные нарукавники.

Дора долго не решалась подойти и снять эту бабочку. Бабочка просидела два часа, а потом, несколько раз отразившись от стен, улетела.

Привыкаешь ко всему. Человек удивительное существо! Дора снова ходила по кафе и в ночные клубы. Если она очень сильно задерживалась там, то памперсы матери набухали так, что не впитываемую ими жидкость собирали простынка и одеяло, которое мама старалась запихнуть под себя.

Однажды, ещё до встречи с Одиссеем, Дора увидела настоящего американского еврея! Тогда у неё родилась мечта стать такой же respectable американской гражданкой, как этот моложавый пожилой человек, нежащий своё пузо на пляжах Кипра. Пожалуй, она даже и очаровалась Одиссеем потому, что он жил в Америке целых два года. Ей казалось, что он сможет и её увезти когда-нибудь в страну её мечты. Она не понимала мать, которая не хотела никуда ехать из своей Сибири и как-то очень спокойно относилась к рассказам своих братьев по крови об их отбывших в тёплые края родственниках. Мать решительно не хотела предпринимать никаких шагов, чтобы оказаться ТАМ, и совсем не пыталась завязать какие-либо продуктивные контакты с еврейской диаспорой. Дора же думала, что они будут жить с Одиссеем в Америке. Они будут обитать где-нибудь в квартале, говорящем на идише, в большом двухэтажном доме с подстриженной лужайкой перед фасадом, похожей на зелёный ковролин с густым ворсом... И все её нынешние подруги будут ей завидовать, что она так ловко устроила судьбу. Надо вот только теперь самой как-то позаботиться о том, чтобы найти потерянные связи со своими бывшими соотечественниками... Теперь же эта мечта становилась ещё более осмысленной: в Америке должны навсегда избавить её от свалившегося на неё несчастья, сулящего видеть только несуетный мир в размытых очертаниях.

Втайне от Одиссея она нашла далёкую американскую родственницу и родственницу поближе, в Израиле. Рассматривала фотографии, присланные ими по электронной почте, расспрашивала их о жизни и мечтала о том, что когда-нибудь, когда мама окажется в лучшем мире, Дора очутится в другой стране, где живут в доме, перед которым обязательно надо стричь лужайку!

Почему ей вдруг так захотелось оказаться там? Ведь её родители никогда не стремились туда. Да и Одиссей, который уже дважды там побывал, говорил, что у них другой менталитет и у него было чувство, будто он в больнице: то же ощущение нереальности и мысль: «Когда же это всё кончится!» Но ведь потом это прошло, когда он своих друзей встретил. И русских евреев там очень

много... Надо только капать Одиссею об этом на мозги, говорить о том, что он растрчивает свой талант здесь впустую, чтобы он захотел туда...

А пока он говорит о том, что чужая страна всегда будет чужой и дом у человека один. Он уже однажды жил в чужом городе, а потом понял, что больше не может, что он там задыхается, и поэтому вернулся. Но она вот не задыхается и живёт тоже в чужом для неё городе как в своём. Хотя и вспоминает иногда о Красноярске, и о северном посёлке своего детства вспоминает... О друзьях вспоминает, но ведь сейчас с друзьями и по Интернету общаться можно.

А дом и родина — это твои близкие. Близких своих она уже наполовину сюда перетащила...

А вчера Одиссей сказал, что его дом — это уже не его дом...

Началась какая-то новая безумная полоса её жизни. Теперь Дора снова спешила жить и успеть от жизни взять как можно больше радости и праздника. Иногда она ходила в кино, хотя сейчас и стало возможным всё посмотреть на дисках... Но большой экран есть большой экран... На нём всё веселее и более зримо. Но обычно, наскоро сменив матери памперсы и накормив её, она просто шла, как в недалёком её прошлом, в какую-нибудь кафешку или ресторанчик, брала стакан вина с какой-нибудь закуской, закуривала сигарету и ждала, что к ней кто-то подсядет или пригласит её танцевать. И снова в её жизни были огни... Шампанское пузырилось переливающимися и взрывающимися в такт музыке пузырьками, янтарное вино солнечным теплом растекалось по ногам, уставшим за день от беготни по лестницам, красное вино смешивалось с застоявшейся кровью, хотелось любви и приключений... Снова в полутьме зала перекачивались разноцветные лучи, похожие на те, что она иногда видела, когда тяжёлая пелена закрывала ей глаза, но свет пытался прорваться в глубину её рваных снов, и она просыпалась в эйфории оттого, что всё в её жизни, как прежде. Она снова скакала в непритязательном танце, совсем не заботясь о том, что её глазам, возможно, совсем и не полезны эти прыжки...

Это было так упоительно: сидеть, положив ногу на ногу, ловя внимательные взгляды мужчин. Она хорошо знала, что эти взгляды нена-

долго, её судьба — Одиссей, но это так чудесно — чувствовать на себе жадные мускулистые руки, совсем не похожие на сучья сломанного грозой дерева, крепко прижимающие её в неуклюжем танце... Так и сам танец ведь и не танец был вовсе, а просто чужие, краденые и торопливые объятия, которые как догадка о том, что где-то есть и другая жизнь, полная взрывающихся разноцветными огнями петард, следы от них оседают в памяти кружочками конфетти, а кружочки эти потом никак не вымести из памяти до конца, словно цветные бумажки — из щелей разошедшегося паркета...

#### 40

Наконец-то Одиссей снова был один. Он уже забыл, какое это счастье быть наедине с самим собой. Одиссей ухватился за предложение вести летнюю практику в элитном детском лагере, как за протянутую ему соломинку, представив, что это бревно... Доре он объяснил, что практика — это неплохой приработок, но он лукавил. Она это понимала, но промолчала, боясь нарушить еле достигнутое шаткое равновесие своим упрёком. Надо было балансировать дальше...

Целый месяц свободы! Целый месяц он мог никуда не бежать, лениться, смотреть немигающим взглядом на завораживающее пламя костра и зеркальную гладь озера, совсем не искажающую его покрывшееся золотистой пылью загара лицо, и думать про вечное...

Он вёл какую-то полурастительную жизнь. До полудня спал. Потом завтракал. Потом шёл на реку... На реке часами валялся под развесистым тополем и читал... Или просто смотрел, как летят белые облака, меняя очертания, перетекая в перистые из лёгких кучевых, предвещая тоску и осенний дождь.

Приезжала Даша. Они ездили купаться на катере, весело перерезающем зелёные горки волн от теплохода и баламутящем рыжую, словно ржавчина, глину на мелководье, и ловили рыбу, забрасывая спиннинг в быстро бегущую воду. Вдруг какая-нибудь дурёха примет блесну за маленькую золотую рыбку, которую можно проглотить, не догадываясь о том, что через минуту крючок разорвёт ей губу и она

окажется на берегу, чтобы высохнуть и глотать окровавленным ртом обжигающий нутро воздух? Ещё ему очень нравилось просто сидеть на носу лодки, слушая зябкий голос уключин, и смотреть, как мимо под водой проплывают рыбы, раздвигая колышущиеся причудливые нити водорослей. Он подумал однажды, что вот так и наша внутренняя, скрытая от чужих глаз толщей бегущей воды жизнь иногда становится полупрозрачной и бережит сердце смутными догадками о том, что ты совсем не знаешь ни себя, ни близких тебе людей...

«Мама задыхается от дыма горящих лесов, и ей постоянно приходится давать кислородную подушку. Я в выходные хожу на пляж. Дома читаю с лупой. Приехал бы, что ли, хоть на пару дней... И меня на природу вывез...»

Одиссей старательно не слышал последнее. В город ему впервые не хотелось.

Год был яблочным. Яблоки — красные, жёлтые, зелёные, в коричневой гнили, в серых пупырышках и червоточинах — падали на землю и бились. Чего-то им не хватало... Кожура, стягивающая сочное переспевшее тело, трескалась; в трещины устремлялись рыжие муравьи, и на траву вытекал сок, пропитывающий воздух сада бродающим вином. Внутреннего покоя не было.

В августе началась череда ливней, хотя казалось, июльские грозы должны были уже отгреметь... Несобранные яблоки подхватил поток мутного селя, внезапно обрушившегося с горы с грохотом гигантского водопада. Спелые растрескавшиеся яблоки, истекающие сладким соком, уносились мутным потоком бурой воды, перемешанной с глиной и разноцветными камнями, вниз под гору... Одиссей стоял на веранде, сквозь ветхую крышу которой падали на пол крупные капли пресной воды. Капли со звоном разбивались о подставленные миски и тазики на веера себе подобных мелких брызг. Одиссей смотрел на весёлые струйки, сбегające вниз с листов шифера, положенного на крышу, и, ёжась от сырости, думал, что вот так в одночасье стихия и мутный поток подхватывают и людей...

Больше всего он любил ночное купание. Можно было заплывать на самую середину озера и, перевернувшись на спину, смотреть в бездонное небо, похожее на огромный старый дырчатый зонтик, изъеденный кожеедом, на кото-

рый он наткнулся в кладовке на даче. В августе звёзды иногда стремительно падают вниз и сгорают, не долетев до земли. Пока они летят, можно загадать желание, про себя зная, что оно не сбудется никогда... Вода была как парное молоко, хотя воздух ночью уже остывал так, что становился таким сырым, будто висел мокрой пылью мелкий осенний дождь. Хотелось натянуть на свитер ещё и куртку, что он и делал. Но ночное купание — это было как какое-то очищение от всей налипшей суеты... Он плывал далеко и подолгу, разгребая упругую воду, будто ворох прошлогодних листьев... Он снова становился юн, полон сил и несбыточных желаний. И снова луна лила будоражающий душу свет, оставляя на чёрном атласе озера светящуюся дорожку, по которой хотелось плыть, будто по серебряному лучу, ведущему в неизбежность. Он плыл и думал, что молодость миновала, что не стоит ничего больше уже в этой жизни ждать и надо быть благодарным тому, что имеешь. Тому, что живёшь, что видишь этот завораживающий холодный свет, по которому нельзя уплыть за край горизонта... Ну разве что махнуть на другую сторону озера...

На берегу чванливо квакали лягушки, но их он не слышал. Сейчас их голос был не в резонансе с его внутренней мелодией. Какие лягушки, когда птицы поют, несмотря на август, совсем не думая о долгом и трудном скором перелёте, из которого многим из них не суждено будет вернуться?

Иногда он просто сидел на трухлявом пне и вдыхал густой хвойный запах, успокаивающий и расслабляющий. Можно было закрыть глаза, уставшие от блестящей глади озера, и слушать, как шумят вековые сосны. Ему казалось иногда, что это тихий плеск прибоя. Но эту иллюзию разрушал мягкий стук сосновых шишек о мох. Сосны уходили так далеко вверх, что нельзя было не думать о вечном... Но и у сосен бывает свой век. Бродя по берегу, круто идущему в гору, с которой было легко сбежать, но устаёшь подниматься, он поразился, что этот крутой склон, несколько лет тому назад усеянный только разноцветными полевыми цветами, был густо заселён молодыми сосенками вперемежку с берёзами. Их никто не сажал, конечно. Просто жизнь и дикая природа брали своё. Легкокрылые семечки, подхваченные попутным ветром, перемешались в неизвестном

им направлении, и некоторым из них посчастливилось не спилотировать на волнующуюся поверхность озера, а остаться и прорасти здесь. Он подумал, что, наверное, и от человека не всегда зависит место, где ему предстоит катапультироваться... на всё воля случая... И надо быть благодарным всему.

Было же в его жизни сибирское лето, когда он шалел от мысли, что может быть интересен молодой девице, чьи губы сладко пахли собранной земляникой... Случилось же в его жизни и лето, когда раз! — и туча, подхваченная ветром, спешащим с юга, надолго открыла солнце. Как затвор у фотоаппарата щёлкнул. Раз! — и возник в его жизни волшебный очаровывающий свет, щедро льющийся сквозь карликовые кроны сибирских сосен, таращащихся на него своими иголками...

И вот теперь снова этот диковинный свет, но Одиссей радуется тому, что он один и никто не может нарушить его внутреннего отшельничества. Внешне он был с детьми и с коллегами, но купался в этом свете один, заплывая в марафонские заплывы в своих не очень-то весёлых думках. Но надо быть благодарным и грустным мыслям. Тоска — это начало пути, пути от того, кем был, к себе новому...

Это лето было удивительно щедро на невесомых бабочек и стрекоз. Бабочки порхали прямо около лица, задевая его своими трепещущими крылышками в диковинных разводах, гладили его мохнатые брови, садились ему на плечи и грудь. За ними не надо было бегать с сачком и радоваться, что настиг и накрыл тяжёлой марлей самую красивую.

«Инфант, скачущий с сачком за многоцветными иллюзиями», — говорила когда-то его мама...

В это лето за бабочками он не бежал. Но нерадостные мысли рассеялись, как туман полудни, и неизвестно откуда снова возникало ощущение какой-то эйфории от всего этого цветения, благоухания и щебетания...

«Ах, стрекоза, мне бы твои фасеточные стереоскопические глаза, глядящие с 360-градусным размахом! Я бы уж точно увидел свою судьбу. А ты «лето красное пропела...». Бог с тобой, пари над легковесными цветками, подставляя свои всегда распростёртые слюдяные крылышки под лучи палящего солнца! Пари, пусть солнечные лучи отражаются от

крыльев, как от двойного окошка, заставляя прыгать на нежных лепестках цветов солнечные зайчики...»

Где вы, те глупые счастливые лица с широко распахнутыми глазами? А теперь его дочь фотографирует глаза, от которых щедро бегут лучики морщин, будто от пуленепробиваемого стекла после того, как его всё-таки пытались пробить навывлет...

И снова было беспристрастное, холодное, не прикрытое и флёром облаков, полнолуние. Рельсы серебрились, будто лунная дорожка в ночи, ведущая куда-то за краешек земли по морскому заливу. И снова поезд плыл мимо, всё набирая скорость, унося любимых и близких, встреча с которыми обещана в скором будущем лишь в Гольфстриме Интернета.

#### 41

**И** снова началась осень. Одиссею впервые так не хотелось возвращаться в город. Но всё проходит. И лето тоже прошло.

Через день после своего возвращения, придя с работы, он услышал истеричную перебранку за своей дверью. Его женщины снова ругались. Он развернулся около двери и быстро побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

Выйдя на улицу, он глотнул осеннего воздуха, поднял воротник куртки, посмотрел на серое небо, похожее на стаю голубей, кормящихся насыпанными на асфальте крошками, поёжился и набрал номер телефона Светланы. Гулять часами сквозь висящую в воздухе изморось не хотелось. Изморось проникала в лёгкие, перехватывала дыхание и сжимала грудь. Он не задыхался, но горло перекручивало спазмом, и хотелось уткнуться, зарыться, как в детстве, в тёплые женские мамины колени и чтобы его обязательно гладили по голове. А потом поили горячим чаем с какой-нибудь успокаивающей мятой, запах которой напоминал о дачных просторах, а не о пропахшей мочой квартире. И он отогревался весь — до кончиков заочкованных пальцев и оледеневшего сердца...

Порой Одиссей ловил себя на мысли, что именно несчастье сделало невозможным их расставание с Дорой. Всё начиналось так легко и непринуждённо, с ощущением, что всё это

не навсегда, что в любой момент всё можно будет опять разорвать, ни о чём не жалея... Идея безмятежного расставания парила в воздухе, залетев в его расхристанный дом в их первый общий день, не улетая ни на миг, лишь иногда только загадочно пряталась где-то среди их вечного бедлама. Жениться он не хотел, о чём прямо сказал Доре ещё в период их романтических встреч. Он знал, что в его жизни это ещё не главная женщина, это просто выход из затянувшегося одиночества... Это просто объект, которому было предназначено заполнить образовавшуюся пустоту в его жизни.

Его развод не был для него лёгким. Да, он бежал, он смылся, но воспоминания и чувство вины, в основном перед дочерью, постоянно давили и не давали дышать. Почему он женился на её матери? Была ли это любовь? Или просто молодое томление тел, помноженное на комплекс руки, где пальцы напоминают сухие щепки, руки, которую всё время хотелось спрятать под стол подальше от глаз прекрасных женщин?

Не раз ему хотелось потом всё повернуть назад, но он уже по уши завяз в колее, и двигаться можно было, только изо всех сил давя на газ и сжимая сцепление, в одном направлении... Но в жизни всё кончается. И половодье чувств, и затянувшиеся, похожие на мелкую рыбацкую сетку дожди, — и тогда наступает сушь. Колея высыхает, покрывается страшными, будто глубокие морщины, трещинами, и только мутная вода на дне пересохшей дороги напоминает о былом половодье. Всё — путь свободен. Теперь можно ехать и вправо, и влево... Налево пойдёшь — коня потеряешь, направо — головы не сносить, а прямо — ноги больше не идут, подгибаются...

И вот снова колея... И все дороги развезло, и его постоянно заносит в сторону, ту, где начинается крутой глинистый склон к полноводной реке, медленно и равнодушно текущей мимо...

Почему мы выбираем из массы возможного именно этого человека? Откуда берётся любовь, налетающая неотвратимо, как грозовая туча? Смотришь на горизонт: она далеко совсем. Думаешь: пронесёт стороной, не заденет и краем, ан нет, её вдруг гонит каким-то неуправляемым и невидимым потоком прямо на тебя. И глядишь: ты уже мокр до нитки, ничего не видишь, кроме этих тугих струй, сбегających с небес и стоящих стеной водопада, зас-

лоняющего от тебя всю другую жизнь. И слышишь оглушающий рёв низвергающейся воды, которая не успевает уходить в песок, а устремляется по склону, чтобы слиться с полноводной рекой и утратить своё кипение...

Но гроза скоро кончается. И вот ты уже зябко ёжишься, хотя ещё так недавно задыхался от жары. А теперь дышится легко и свободно. Только почему-то в охрипшем горле встаёт непонятный ком, который силишься протолкнуть — и не можешь.

И ты снова куда-то бежишь, стараясь разогреть себя движением... Снова бежишь на поиски вечного и недостижимого состояния счастья, которое так быстро исчезает, словно след самолёта в синеве...

Жизнь человеческая слишком долга для одной любви... И всё чаще думал он о том, что было бы неплохо собрать чемодан и закатиться к этой совсем ещё чужой женщине. И никуда больше не уходить из комнаты в мягком оранжевом свете, который сочится из огромного шара абажура, похожего на раскалённое заходящее солнце, прикрытое лёгкой дымкой облаков. И неотрывно смотреть на этот абажур, как на западающее в море светило, отдаляя блаженную минуту, когда придётся встретиться с чёрными магнитами зрачков, отражающих этот солнечный шар... Он знал откуда-то, что из этого туннеля зрачков ему выбраться не суждено, но там, как в туннелях далёкой Скандинавии, живёт внутренний голубой свет, рассеивающий страх мчащегося по нему...

Дора всё чаще приходила поздно, и от неё пахло вином. Он с детства ненавидел этот запах, который иногда по праздникам приносил его отец.

Одиссей с горечью думал о том, что он просто был трамплином в Дориной жизни к какой-то другой, полной приключений и светящихся огней. Но так получилось, что прыжок оказался неудачен. И теперь «горнолыжница», случайно сломавшая хребет, вынуждена быть привязана к одному месту, которое почему-то оказалось его домом.

Всё чаще хотелось ему разорвать этот круг, куда он сам себя заточил, ослеплённый огнями праздника и фейерверка, смешавшегося с шумной толпой, где все говорят громко и никто никого не слышит...

Он методично стал высылать свои предложе-

ния в международные обучающие проекты, в тайной надежде на то, что ему опять отыграется какой-нибудь грант, как было уже однажды... Всё чаще снился ему белый огромный лайнер, несущий его над океаном...

Как-то раз Дора высказала своё желание начать бегать с ним трусцой по улице. Это вызвало у него такое бешенство!.. Он не мог сказать ей «Нет!», но то, что эти часы его своеобразного уединения будут, несомненно, нарушены, что он не сможет больше бежать, летя по причудливым волнам своей памяти и своего воображения, вывело его из колеи... Он подумал о том, что этот бег был скорее бегом от себя, чем поддержкой своего стареющего тела в форме, полётом над суетой в самодельной гондоле, в которой можно было спокойно лежать на плотном дне корзины так, что тебя никто не видит, и, отдыхая, наблюдать, как плывёшь сквозь рваные клочья облаков. Теперь у него отнимали и эту возможность...

## 42

Дора приходила всё позже и позже... Теща тихо лежала в своей комнате, так тихо, что Одиссею казалось, что она уже ТАМ... И снова Одиссей радовался тишине и возможности побыть почти одному.

Он позвонил Даше, и они целых полчаса болтали ни о чём. Это так здорово: говорить без свидетелей и даже — с родным ребёнком... Он никогда не думал, что его разговоры с дочерью могут вызывать какую-то ревность, однако он всё чаще слышал, как Дора начинала испуганно звенеть на кухне кастрюлями, будто колотила в гонг. Хлопала дверью так, что из расшатанного косяка опять с грохотом летела штукатурка, и с твякающим визгом передвигала по паркету стулья. Нет, она редко вмешивалась в его разговор, но он чувствовал себя как голый на ветру, выставленный на всеобщее обозрение любопытных глаз... Боялся сказать Даше лишнее нежное слово, всей кожей чувствуя летевшие от Доры невидимые искры, выводящие его из состояния равновесия... Иногда он даже уже хотел, чтобы какая-нибудь искра попала в кучу сваленного мусора, — и гори всё синим пламенем! Но инстинкт самосохранения всегда удер-

живал его, и он опять, как испуганная птица, прятал голову под крыло... Всё-таки ему повезло с дочерью! Вот кто почти не ревновал его! Даша жила какой-то совсем отдельной от него жизнью, и казалось, её мало задевало то, что в жизни отца существует женщина намного моложе её мамы, женщина, которая поглотила большую часть его жизни, которую он не собирался ни с кем разделять. Вышло всё так незаметно... Не хотел ни приручать никого, ни быть приручённым... Одного брака хватило с лихвою... Но как-то очнулся опутанный такими канатами, которые вдруг оказались сильнее печати в паспорте!..

Неужели наша совесть — это якорь, который удерживает нас от выхода в синее море, по которому хочется плыть и плыть, чтобы всё же заглянуть в то место, куда пропадает солнце?

Затем он набрал номер Светланы, удивляясь своему странному мальчишескому страху, когда робеешь так, что думаешь, что лучше бы на другом конце провода трубку не взяли. Но трубку сняли — и очень ему обрадовались. Он это понял каким-то своим внутренним слухом. Вроде бы ничего и не произошло особенного, а день снова заиграл всеми красками радуги после грозы...

После этого он сел работать и думал, что такого хорошего настроения у него не было давно.

Он даже не заметил, как за окном ступились сумерки и стали светить уличные фонари, похожие на прибрежные маяки...

Потом очнулся, поглядел на часы и пошёл кормить тещу. Тещу приходилось кормить, как ребёнка, с ложечки и поить из кружки для минеральной воды. Но струйка сладкого чая всё равно стекала по подбородку, оставляя липкое пятно на рубаше. Он вытер полотенцем ещё не старческий подбородок одутловатого женского лица, похожего на пожелтевшую от времени бумагу, лица, временами принимавшего малоосмысленное выражение, и с раздражением подумал, что его Доре давно пора быть дома.

Потом набрал мобильный Доры. Дора весело прошебетала, что ещё не вечер... Спустя два часа, чувствуя нарастающее беспокойство, он позвонил снова. Всё-таки его подруга (у него никак не поворачивался язык даже мысленно называть её женой, почему-то всё в нём протестовало против этого) оставалась человеком с ослабленным зрением, и кто знает, в какую

ситуацию она могла бы попасть... Трубку не взяли. Чувствуя нарастающее беспокойство, он звонил каждые десять минут, но теперь равнодушный женский голос ему объяснял, что абонент временно недоступен.

Он обзвонил дежурные больницы, ничуть не успокоившись тем, что женщин, похожих на его Дору, туда не поступало.

Нервно меряя комнату неровными шагами, он прислушивался: не хлопнет ли в подъезде входная дверь, но слышал только периодический клацающий железный лязг соседской двери, выпускающей очередного клиента из «засекреченного» борделя.

Он несколько раз зачем-то подходил к окну и смотрел на пустынную проезжую часть, тёмный коридор которой прорезали редкие фары машин. И снова луна лила свой равнодушный безжизненный свет, похожий на скальпель хирурга, ампутирующего гангренозную конечность. Он поёжился от этого безжизненного света, бьющего ему в лицо своей определённой, и подумал, что у оперируемых людей не остаётся выбора: либо сгнить целиком, либо жить усечённым, неполной жизнью, но жить...

В половине шестого утра, когда луна начала бледнеть, а чернильная темнота выцветать, будто залитая пергидролем, совершенно обессилев от ожидания неизбежного, он стал набирать номер милиции, но вдруг услышал неверный поворот ключа в замке... Ключ сначала повернули, закрыв замок ещё на один оборот ключа, и только потом открыли. На пороге стояла раздумывавшаяся весёлая Дора, пропахшая чужим сигаретным дымом и вином.

— Ты не спишь разве? А мы так чудно погуляли!

Одиссей, не в силах совладать с захлестнувшей его, словно цунами, яростью, взял Дору за кружевной воротник, развернул, чувствуя, как нежный ажур затрещал под его деревянными пальцами, будто случайно зацепившись за сук заросшего сада, и вытолкнул её в подъезд, выстрелив закрывшейся дверью и с силой забивая в косяк задвижку.

Ещё два часа он вынужден был слушать, как звонок кукует кукушкой, и терпеть крики тётки, похожие на мычание забиваемой коровы...

По осени приходит тоска. Она подкрадывается тихо и закрывает твои глаза своими потными ладонями. Ты даже не пытаешься сопротивляться и ловить солнечный свет сквозь щёлочки между пальцев... Тоска о том, что молодость миновала, а жизнь всё убыстряет и убыстряет ход. И ждать от неё подарков — непозволительная наивность. Но Светлана вдруг снова начала ждать невозможного. Так бывает. Несбывшееся начинает преследовать по ночам, заставляет тебя днём сверлить взглядом стену и не слышать собеседника, смотрящего тебе в глаза.

— Ау, ты где?

— Я не здесь... Я — снова в облаках, хотя они летят так низко над землёй, что можно забраться на крышу — и достать их рукой... В жизни снова нет теней, но цвет не исчез: он просто не такой яркий, как в юности и мае... Он более спокойный и уверенный в себе...

Тоска — это ведь тоже цвет и вкус. Вкус жизни, начало дороги... Это — когда хочется всё переиначить... «Ты не плачь, не плачь, не плачь, куплю солнечный калач...» — когда-то говорила бабушка... Светлана всегда думала: «А почему солнечный?» А теперь поняла: это когда в жизнь начинают впускать свет.

Любила ли Светлана мужа? Наверное... Они жили долго и дожили до любви, которой было суждено распуститься полным цветом, когда одного внезапно не стало... Распуститься и остаться стоять в вазе на столе засушенным букетом, изменившим свой цвет и утратившим аромат...

Она вышла замуж за коллегу — и не потому, что была влюблена, а просто ей было уже двадцать семь, захотелось вырваться от родителей и иметь свою, отдельную жизнь. Большинство подруг давно нянчили детей.

С детьми не получилось... Но в её жизнь пришло новое ощущение, что она — не одна, что у неё есть половинка, с которой они хоть и не целое, но люди-то воспринимают их как целое... Потом всегда есть родная душа рядом, на которую можно во многом положиться и которая может тебя услышать, даже рассеянно глядя на белый пух облаков, проносающийся над головой...

И вдруг в один день старательно выстроенный домик рассыпался, как от налетевшего смерча... То, что давно перестали ценить и замечать, что казалось уже безвкусным, как вода, внезапно исчезнув из жизни, начало вырастать до размеров небоскрёбов, заслоняющих от себя всё. Оказалось, что без воды человек просто погибает.

Она не погибла. Она нашла, чем жить. И даже, пожалуй, у неё не было времени, чтобы отдаваться воспоминаниям, которые предательски обступали её по ночам, сжимая кольцо всё теснее и теснее, так, что из него уже хотелось вырваться: такой сплошной стеной высился лес из воспоминаний, взявших за руки и водивших около неё хоровод. Иногда ей казалось, что воспоминания расцепляют руки и отбегают на безопасное расстояние, но потом они снова судорожно хватались за руки, будто боялись потеряться в этом мире, и всё плотнее сжимали кольцо вокруг неё. Заглядывали в глаза, пытались дотянуться вспотевшими руками до дынышка её души, и жарко дышали в лицо...

Иногда она думала, что ей повезло. У них с мужем не было долгого мучительного прощания, когда один уже там, а другой здесь, когда понимаешь, что любимый человек медленно тебя покидает и нет никакой надежды что-либо изменить или хотя бы поправить... Повезло, что не было того физического состояния чудовищной усталости, когда становится почти всё равно и даже начинаешь думать, что скорей бы всё кончилось... Просто жизнь взяла — и переломилась на две части, что уже никогда не склеить: одна была та, что — до того, другая — после. И в этой жизни «после» она жила, а не существовала... Хуже всего было то, что тоска всегда подкрадывалась внезапно и неминуемо. Спрятаться от неё было нельзя... И тогда сердце начинало покалывать так же, как затёкшую под головой на подушке во время сна руку, когда её вытащили из-под головы. Она пыталась протолкнуть воздушную пробку, запершую крик в её горле, — и не могла...

Кому: [odissey@mail.ru](mailto:odissey@mail.ru)

Как ваше состояние усталости и загнанности? Отошли немного? Или отпуск только сгустил печаль? В повседневной суете на печаль не

остаётся времени, поэтому мы пытаемся её запрягать подалеже не только от чужих глаз, но и от себя тоже, а в отпуске выпускаем её расцветать пышным цветом...

У меня вот это чувство сладкой грусти — неизменное в каждое лето, когда живёшь на даче, где прошли твои детство и юность, где жили твои близкие, которых уже нет... Хорошо знаешь, что это ощущение неминуемо, даже, если не будет холодов и затяжных дождей, а будет светить солнце и можно будет плавать в день по несколько километров...

Когда плывёшь долго и никуда не торопясь, куда-то уходит вся суета, — и медленно всплывают, как придонные рыбы, всякие мысли, печальные и не очень, о том, что это не время проходит — это проходим мы... Знаешь, что это состояние неизбежно, а всё равно стремишься сюда, оставляя дальние страны и эйфорию на потом...

Начинают выныривать из памяти лица, мимо которых прошёл, не оглянувшись, но которые почему-то зацепились в памяти и, оказалось, бережно хранимы от забвения. Вот ваше опять вынырнуло. И я подумала: а что мне мешает черкнуть несколько строк? Жизнь человеческая не так уж длинна, чтобы всегда глушить, как рыбу, подобные желания, рыба-то, бывает, иногда очухивается и не всегда всплывает кверху брюхом. И я, возможно, не самый тривиальный собеседник в виртуальной реальности, к тому же существующий в «реале».

А вы, кажется, чуть-чуть испугались самого себя, каким оказались немногим меньше года назад, и своего настроения — и удалились от всяких «философских контактов»? «У меня всё нормально» — к маске привыкаешь, с нею срастаешься... А мне показалось, что это не так... И почему-то захотелось послать сигнал то ли маяка, то ли встречного теплохода в нерассеивающемся тумане... Ау... Вас слышат! Ваш внутренний мир интересен, и всё совсем не так, как иногда начинает казаться...

Только не говорите, что вы в отпуске не наслаждались, как ключевой водой, одиночеством, ощущая вкус родника; не плавали, растворяясь в тишине озёр, как я; не смотрели в колокол неба, набитый звёздами, думая о скоротечности жизни; не слушали ночного пения птиц и стрекота кузнечика, не вздрагивали от



стука яблок, шишек, которые сбрасывают вековые сосны, продолжая зеленеть, когда другие теряют даже листья, становясь прозрачными...

Увы, всё кончается когда-то...

## 44

Вчера Дора сообщила Севе, что у них будет ребёнок. Она почти три месяца молчала, боялась, что он будет против этого ребёнка... А теперь уже рука не поднимется у него что-то менять. Он воспринял её сообщение очень странно. Промолчал и ушёл в свою комнату. Но не сел за свой экран, а лёг на диван и стал смотреть в потолок. Лежал так часа два. Она обиделась и даже не хотела к нему заходить... Весь вечер не разговаривал почти...

Потом она пришла к нему, когда он устроился уже за своим компьютером, и села к нему на колени.

— У нас будет очень талантливый мальчик, как ты, — сказала Дора. — И игрушки свои ты будешь придумывать не для чужих детей, а для своего...

— Да, да... Конечно, у нас будет очень талантливый мальчик, — и погладил её по волосам, зарылся в её жесткую копну, похожую на чёрного барашка...

— Нам надо будет расписаться, ребёнок должен знать, что он родился в законном счастливом браке и был желанен.

Но Одиссей снова молчал и ничего ей не сказал...

Он только опять погладил её по голове и вновь уставился в свои сетевые проекты...

Потом она прочла среди его деловых переговоров с коллегами фразу: «Что-то мне опять грустно... Может, мне микроэлементов не хватает?»

## 45

У Доры началась почти новая жизнь. Теперь она должна была думать о её маленьком. Она заставила Одиссея сменить раритетную колонку; журчащий унитаз с ржавым бачком поменять на компакт, сделанный под «чёрный мрамор»; выкинуть жёлтую раковину с отбитой эмалью, будто усыпанную чёрными оспинами;

отремонтировать кухню, ванную и туалет; купить новый диван, покрытый синим велюром, с многочисленными сиреневыми подушками и пуфиками и такие же кресла с огромными бархатными подлокотниками... Он пытался ей возражать, что родительские сбережения не бездонны и деньги им ещё понадобятся, но Дора настояла на своём. На все её разговоры о регистрации их отношений он по-прежнему реагировал молчанием каменного утёса.

Она выклянчила у него поездку на неделю в Египет, плача, что она так устала с мамой и вообще теперь у неё возможность съездить куда-нибудь неизвестно когда ещё появится...

Это было так здорово перенестись из дождливой холодной осени, когда деревья уже потеряли почти все листья и стали совсем прозрачными, в страну вечного тепла и южных ветров, где море было горячим, как воздух или ненадолго позабытый чай... Воздух по ночам уже остывал, темнело рано и беспросветно, но море оставалось тёплым, будто в солевой ванной дома... Она никогда так долго не плавала... Плавать в этой воде было легко. Будто десятки нежных мужских рук выталкивали её на поверхность и качали над землёй. Ей снова было спокойно, и она знала, что Одиссей уже никуда от неё не денется. У неё всё получилось, как она придумала. И дальше всё получится. Единственно, что могло омрачить её поездку, так это постоянно подступающая дурнота и набегающие мушки, которые прыгивали с изумрудной ряби и начинали мельтешить яркими светлячками у неё в глазах. Мир тихо качался в такт набегающим волнам, верх уплывал вниз, а низ вверх, и она думала: «Как это маленьким детям может нравиться убаюкивание в коляске?» Она лежала на спине, всем телом ловя солнечные лучи и впитывая южный аромат чужого ветра, и думала, что жизнь так прекрасна! И ей повезло очень, что её занесло в ту блаженную весну в чужой город, становящийся родным... Но хорошо вообще-то было бы как-то внушить Севе, что за океаном им будет гораздо лучше... Купят маленький домик, ребёнок будет гулять на постриженной лужайке, Одиссей будет профессором тамошнего университета, а она женой господина профессора...

Ребёнок пока был тих и незаметен, и никто о

нём не догадывался, но ей уже хотелось растрезвонить о нём всему миру. Она стала ступать осторожно и вперевалку, точно уточка, забросила каблук, хотя нужды в том ещё пока не было...

Раз в неделю они ходили с Одиссеем теперь в бассейн, где она подолгу плавала, подумывая о том, не рожать ли ей в воду. Бассейн, хотя и пропах хлоркой, был наполнен такой прозрачной бирюзовой водой, через которую просвечивала белая кафельная плитка дна, напоминающая операционную. Бассейн как рукой снимал усталость и душевную, и даже физическую: мгновенно проходили отёки на ногах и ноги переставали ныть и болеть. Хотя домой она возвращалась в изнеможении, но душа её парила по зеркальной глади, которую Одиссею так нравилось взрывать беззаботными брызгами. Когда родится малыш, она обязательно будет его с первых дней купать в большой ванне...

Одиссей стал снова внимателен, заботлив, нежен и даже купил несколько забавных детских игрушек, хотя покупать такие вещи раньше времени, говорят, дурная примета. Но ведь он никогда не верил ни в какие приметы...

#### 46

**Н**у вот, его жизнь приобретает очерченность и определённую, никаких смутных женских силуэтов, померещившихся за занавеской; размытых летними дождями акварелей, по которым так интересно прочитывать: а что там было нарисовано и что предназначено? Ты же знал, что молодая твоя подруга рано или поздно захочет иметь детей. Что же ты теперь растерян и зачем вспоминаешь свой первый брак, когда с рождением Дашы их жизнь хоть и стала осмысленней, но начала раскачиваться, как плот, брошенный в море? Вроде бы надёжно держишься на плаву — да вот стоять как-то не очень ловко. Всё время норовит шатнуть тебя в сторону... Сыро и неуютно, особенно если солнце за облаками. Того и гляди, смочит что-то для тебя важное равнодушно набегающей волной... А волна-то может быть совсем не от встречного ветра, от какой-нибудь шальной моторки, с ухарским рёвом проносящейся мимо.

Даша была его иконой, его любовью, которую

никакие другие женщины заслонить не могли. Это благодаря ей они прожили с женой целых двенадцать лет, разговаривая на совершенно разных языках. Он никак не мог собраться с духом всё оборвать, понимая, что видеть Дашу придётся чрезвычайно редко, урывками, комкая встречи и расставания.

Пять решительных лет взросления пролетели без него. Они почти не виделись. Лишь два раза приезжал он в город, в который сорвался почти четверть века назад, следуя неизвестно откуда взявшейся страсти.

Почему мы выбираем из массы возможного именно этого человека? Откуда берётся любовь, налетающая неотвратимо, как грозовая туча? Смотришь на горизонт: она далеко совсем. Думаешь: пронесёт стороной, не заденет и краем, ан нет, её вдруг гонит каким-то неуправляемым и невидимым потоком прямо на тебя. И глядишь: ты уже мокры до нитки, ничего не видишь, кроме этих тугих струй, сбегаящих с небес и стоящих стеной водопада, заслоняющего от тебя всю другую жизнь. И слышишь оглушающий рёв низвергающейся воды, которая не успевает уходить в песок, а устремляется по склону, чтобы слиться с полноводной рекой и утратить своё кипение...

Но гроза скоро кончается. И вот ты уже зябко ёжишься, хотя ещё так недавно задыхался от жары. А теперь дышится легко и свободно. Только почему-то в охрипшем горле встаёт непонятный ком, который силишься протолкнуть — и не можешь.

И ты снова куда-то бежишь, стараясь разогреть себя движением... Снова бежишь на поиски вечного и недостижимого состояния счастья, которое так быстро исчезает, словно след самолёта в синеве...

Они гуляли с Дашей в тот его приезд по её маленькому и плоскому, как ладонь, городку, где все говорят громко и никто никого не слышит, и ели мороженое. Она, захлёбываясь залившимся смехом человека, у которого всё-всё впереди, рассказывала о своей замечательной жизни.

Его задело тогда, что она счастлива и без него. Нет, она его не вычеркнула из своего мира, искрящегося огнями ежедневного фейерверка, фейерверк был лишь прыгающим отражением фар проезжающих автомобилей и нео-

ново-аргоновых реклам в искривлённом зеркале. Просто её мир был так густо населён, что для Одиссея не было там ежедневного места. Он мог приходить туда в гости — и тогда его радушно встречали, выставляли лучшие угощения и старательно развлекали.

Его поразила тогда её уверенность в своём «прекрасном далёко». «Мы молоды и талантливы...» — написала она под одной из своих фотографий, на которой была со своим молодым и лёгким другом, вскоре канувшим в забвение. Их глаза были широко распахнуты, волосы трепал шальной ветер недюжинной силы, а по лицу бегали солнечные зайчики.

Он позавидовал ей тогда, вот этой её уверенности в том, что она будет танцевать по жизни счастливой, любимой, известной, перелетающей, как перламутровая бабочка с цветка на цветок в саду реализующихся возможностей.

Как так получилось, что, казалось бы, мимолётное его увлечение становится судьбой? Он всего лишь хотел посмотреть Сибирь. И было ему грустно и одиноко. Казалось, что жизнь прожита и ничего хорошего в ней уже не будет. Кому нужен сухорукий, стареющий, мало зарабатывающий мальчик, придумывающий компьютерные игрушки? Смешно. Оказалось, что нужен... Ему необходима была женщина, и он её нашёл. Что же грустно-то так? Молодость повторяется. Его ровесники становятся дедушками, а он снова отцом. Надо же радоваться. Не такое у него уж безвыходное материальное положение. Ну, отдыхать не будет ездить. Но загранкомандировки-то останутся... Нет, не от этого он грустит. Просто ему опять казалось, что это не навсегда... Но дети-то не навсегда не бывают... Дора повзрослеет, должна повзрослеть, а он будет стареть. Радоваться же надо, что рядом будет молодая женщина, почти как дочь... А он грустит, думая о том, что он опять летает не на той высоте и не по тому маршруту... И вынужден снова разговаривать на чужом языке, даже не пытаясь объяснить что-либо, зная, что всё равно его не поймут и не услышат... Она же любит тебя! Чего стоят только одни её влажные глаза, смотрящие на тебя взглядом преданной собаки! Такого в твоей жизни ещё не было. Она же была в тебя влюблена и, как шенок, повизгивая и виляя хвостиком, бежала тебе

навстречу. В твоей жизни такого ещё не было. Ты не много мог дать материально, когда был молодым отцом и мужем, но ты был исполнительным маленьким безголосым домашним рабом и заботливым отцом, готовым разделить даже все скучные хлопоты. Никто никогда там не думал о том, есть ли обед в холодильнике, или о том, что твой свитер усыпан мелкими шариками свалявшейся шерсти, а локоть уже стыдливо просвечивает через его истончившуюся вязку... А Дора хоть и не всегда тоже готовит обед, но грустит и печалится, когда ты срываешься в свои командировки и путешествия, оставляя её одну... Она ждёт твоих звонков и писем по электронке, покупает к твоему приезду что-нибудь вкусненькое, бросается тебе на шею и ластится, точно мартовская кошка... Это ведь всё было и до её несчастий... Только теперь к её любви прибавился ещё и страх, что рано или поздно ты всё равно не выдержишь... Не этот ли страх — причина её патологических вспышек ревности, причин и оснований для которых нет пока никаких? Странно лишь то, что тех, от которых на самом деле исходит потенциальная опасность прописаться в твоём сердце, Дора в упор не видит. А к его студенткам ревнует... Злитесь даже, когда он с ними шутит... Бесится, когда он на летнюю практику уезжает... Смешно... А может, и не смешно вовсе? Сама-то она была такой же не очень далёкой студенткой-пышечкой, надевающей на экзамены джинсы до пупа, оголяющие её нежный живот... Безвкусно, но взгляд притягивает, как магнитом. Вот и он с его умом попался, как одинокий волк, в капкан, замороженный заячьим петлянием меж кустов... Его же никто так никогда не любил! Его любили студенты, он нравился женщинам, но чтобы вот так непосредственно кричать о своей любви к нему, как это делала Дора? Нет, никогда... И закружила она его именно этим своим восторгом... Да, конечно, ему было очень одиноко после смерти мамы, и у него не было женщины... Если в сердце вакуум, то в него может втянуть любого, кто попадается по дороге...

А теперь у тебя будет ещё и сын. Он будет обязательно умным, вы будете вместе придумывать развивающие компьютерные игры, играть в шахматы и бегать по пустынным вечерним улицам, тренируя мускулы и сердце. Ско-

ро он будет обнимать тебя нежными игрушечными ручонками и, как тайфун, опрокидывать всё в твоём и без того опрокинутом доме... Куда хуже, когда человек не имеет будущего... А у него будущее уже есть.

## 47

**Н**о, как ни странно, он снова удрал. Они гуляли с Дашей по Москве. На набережной под старинными фонарями, похожими на керосиновые лампадки, стояли деревья, будто сделанные из серебряной проволоки и хрусталя. Обледеневшие их ветки, убегая от лёгкого ветра, нежно касались друг друга и, казалось, мелодично звенели, напоминая звон бокалов в новогоднюю ночь, звенели о том, что скоро зима... что лучше пусть зима сразу, чем вот так оттаивать в одночасье и леденеть на ночном ветру... И ребёнок был послан им, может быть, для того, чтобы не леденеть, отвернувшись к теням на стене или голубому монитору? Или всё равно процесс охлаждения необратим? И они только отсрочат агонию? Луна опять была полной и тоже, как спящее серебряное блюдо, разливающей холодный и безжизненный, точно инструменты хирурга, свет...

Рядом была дочь, которая, казалось, не замечала его отрешённости и беззаботно щебетала, точно воробей, которому вольготно тогда, когда певчие птицы отбывают на юг... Под ногами был настоящий каток, блестящий, как спокойное озеро. Ноги разъезжались, он зацепился за Дашу, и их несло потоком толпы, устремлённой к входу в метро... Дочь взалёб рассказывала о своей учёбе. И он подумал, что это подарок, если твой ребёнок счастлив в самореализации. Он случайно поднял голову на крыши близлежащих домов — и ужаснулся. Они были удлинены почти на метр огромными ледяными козырьками, с которых кое-где росли вниз гигантские сосульки. Одна из них росла как-то странно, она будто стучалась в низлежащее окно, горевшее цветом спелого абрикоса. Он подумал, что вот так людей на последней стадии оледенения бросает ветром к теплу и свету...

С крыши дома, что был впереди, с металлическим грохотом полетел гигантский кусок льда — и разорвался на асфальте, словно бомба, отправляющая свои осколки на все четыре стороны... Он резко потянул дочь к проезжей части.

Даша замолчала, словно внезапно отключили звук у телевизора, резко вырвалась вперёд, развернулась на 180 градусов и взяла отца за плечи, заглядывая ему в глаза:

«Теперь ты меня забудешь? Будешь приезжать редко-редко и всё будешь делать для своей новой семьи? В твоём сердце — уже не я... Я никогда так не была расстроена с того самого времени, как ты уехал от нас... Но там ты всё равно был со мной, а сейчас нет... Я говорю, а ты не слушаешь, думаешь о своём... И Дора твоя мне никогда не нравилась, я её терпела, она глупа для тебя, даже я уже умнее её. И как ты мог очароваться голыми коленками и майками на бретельках, под которыми ничего? А ещё в школе преподавал. И студентам лекции читаешь. Бедный, бедный папа, совсем поглупевший на старости лет...»

На него смотрело его молодое чужое лицо... Голос звенел, как обледеневшие деревья, а губы были точно обсыпаны инеем...

«Да не переживай ты так! Всё будет замечательно», — Одиссей притянул к себе Дашу, но та вдруг поперхнулась и, глотая слёзы, резко отстранилась от него. Дальше они пошли к метро, разделённые невидимой стеной метровой толщины.

## 48

**Ж**ивот рос, а настроение почему-то было совсем не очень. Ходить по кино и кафе ей было всё тяжелее, о ребёнке не думать уже было нельзя. Мама спала и ела, ела и спала, и это становилось уже привычным и почти не мешающим ходу жизни. Одиссей по-прежнему либо бегал где-то — неизвестно где, либо сидел и писал свои программы. К нему было лучше не подходить в такое время.

Дора скучала, ей казалось, что она всеми забыта и стала никому не интересна. Она начала разыскивать своих одноклассников и знакомых, перебрасывалась с ними, как мячом, сообщениями, и в этом тоже было нечто, вносящее в её жизнь какое-то разнообразие. Ей нравилось «хулиганить»: загрузить свою детскую фотографию или мордашку сестры и написать какому-нибудь старому приятелю. Ещё она очень любила вывешивать на стенах своих

веб-страниц матерные стишки на английском языке, трясясь от смеха и предвкушая, как её друзья будут всё это со словарями и «переводчиками» переводить... Сообщить нечто вроде того, что она хочет в туалет...

Она почти перестала готовить и стирать, ссылаясь на то, что её тошнит. Да Одиссей и не требовал от неё ничего. Он опять, как было в первом его браке, нацепив на себя фартук из болоньи, по которому сквозь синеву скользили оранжевые и жёлтые кленовые листья, готовил что-нибудь вкусенькое... Пёк блинчики или зажаривал в духовке курочку, нацепленную на бутылку с водой. И с предупредительной улыбкой официанта разносил всё это домашним по комнатам, думая о том, что хорошо бы смыться в какую-нибудь командировку.

Дора стала раньше ложиться спать, погружаясь в тягучий, засасывающий, как патока, сон, в недоумении просыпаясь, когда Одиссей приходил, или пугаясь того, что опоздала на работу. Но за окном была чернильная темь, прорезанная разноцветными театральными вывесками на домах, похожими на ёлочные гирлянды в новогоднюю ночь, да одинокими прожекторами от фар запоздавших и заблудившихся машин. Ветки снова сбросили листья и отражались на стене, напоминающая исчёрканный в гневе чёрным фломастером листок пожелтевшей бумаги.

## 49

**И** почему мы зачастую вынуждены проживать не свою, а чужую, не нам предназначенную жизнь? Отчего наша судьба — проживать чужую жизнь, и даже если очень хорошо понимаешь, что это — не твоя судьба, то бываешь не в состоянии вырваться из незатейливых сетей обстоятельств, что оказываются сплетёнными из невидимых нитей, разорвать которые становится невозможным? Они оплетают, опутывают тебя, как паутина бабочку, не заметившую невесомую сетку, налипающую осенней изморосью на твоё лицо, затуманивающую и заклеивающую твои воспалённые глаза, залепляющую твой пересыхающий рот, утяжеляющую и крепко связывающую шёлковые крылья, обдирая с них защитную пыльцу, без которой не взлететь.

Зачем случайные обстоятельства оказываются сильнее того, что, возможно, нам предназначено свыше? Почему мы оказываемся не в силах разорвать замкнутый хоровод дней, очерченный неверной рукой, похожий на серые доски в заборе? И даже натягиваем на этот забор в три ряда колючую проволоку и вешаем замок помассивнее на узенькую калитку, в которую можно протиснуться только поджарым боком. Не подходи: это моя крепость!.. Но так легко перемахнуть через колючую ограду — надо только кинуть на неё ватник да пару стареньких лоскутных одеял...

Одиссей крепко держал Дору за плечи, когда они спускались по гранитным ступенькам больницы на воздух. Он уже давно так крепко её не держал. В последнее время Доре казалось, что её друг способен держать только связку разноцветных воздушных шариков и блаженно улыбаться про себя, думая, что она его улыбку уже всё равно не видит.

Предательская пелена начала наползать на её глаза, дробя и размывая яркий свет на множество хрустальных бусинок. Дора глотала слёзы. Вдруг бусинки стали резко увеличиваться, дрожать и лопаться, будто пузыри дождя на реке. Все очертания побежали, как мелкая рябь на воде. А потом — будто камень с души свалился и ухнул в воду вслед за пузырями дождя. И она — вслед за камнем. Всё. Опять под водой. Темнота. И только причудливые нереальные очертания колышущихся водорослей и придонных рыб. Театр теней, где все тени размыты и смазаны. Остаётся только догадываться обо всём... А свет, он где-то далеко, на поверхности, через несколько метров толщи воды, бегущей куда-то в одном направлении к большому синему морю. И только она одна на дне воронки. Не выбраться. Барахтаешься что было сил — и только совсем без сил остаёшься, и медленно погружаешься всё ниже в эту беспросветную толщу воды, почти не пропускающую свет...

## 50

**Н**еестественно огромная луна, гипнотизирующая, похожая на огромную летающую тарелку, висела, распространяя вокруг себя люминесцирующую ауру, рождающую невы-

носимую тревогу и бессонницу. Одиссей посмотрел на луну и внезапно увидел тёмные и неровные пятна, будто это коррозия на начищенной латуни. До сих пор он, прожив почти полвека, наивно полагал, что тёмные пятна бывают только на солнце. Это была — азбука, букварь света и теней. Луна же, как казалось ему, всегда давала ровный и безжизненный свет, как у лазера хирурга. Вдруг луна резко начала бледнеть, но не очень сильно, аура становилась всё шире и шире, словно зрачок от света (только здесь всё было наоборот), но, достигнув определённого предела, замерла в оцепенении. Тёмные пятна были подвижны, и их несло куда-то ветром, будто лёгкую паутину, перемешанную с тополиным пухом. Он долго не мог понять физическую природу этого явления. Да и нужно ли было её понимать?.. Не упрощаем ли мы жизнь, пытаясь понять её законы? Так нам проще и спокойнее, когда всё объясняет наука, ведь чудес на свете не бывает и ждать их неоткуда. По небу плыли лёгкие перистые облака, что бывают к ненастью. Летели стремительно, чуть приглушая свечение луны, но увеличивая размеры светящегося люминесцентного круга до инопланетного явления. Теряя в одном, прибавляем в другом. Недавняя победа оборачивается поражением. Невозможность достичь того, что ты когда-то хотел, оказывается лучшим подарком судьбы. И никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдёшь. Вечная игра света и тени.

Он глубоко глотнул сырого осеннего воздуха, в котором кристаллизуется изморось, оттаивающая в твоих лёгких, легко оттолкнулся от асфальта и побежал. Он бежал сквозь ночной город, залитый неоновыми и аргоновыми огнями разноцветных реклам, круглый год похожими на ёлочные гирлянды, бежал мимо чёрных, сливающихся с небом домов, напоминающих остатки подсвеченного римского Колизея, в котором бушевало пламя, но огня не было видно, о нём можно было только догадываться... Окна горели, как огненные заплатки. Жизнь была скрыта от посторонних глаз, это был не океан Интернета, это была холодная осенняя улица, на которой люди застёгивали свои куртки на молнии, а дома — на двойные замки и узорные решётки, оставляющие свои тени среди пляшущих языков пламени.

Он старался бежать так, чтобы облака сложились у него в постоянный узор и никуда не улетали. Но пятна на луне постоянно перемещались, меняя очертания и величину. Он бежал и думал, что молодость миновала и всё чаще этот его ритуальный бег кажется бегом белки в колесе на потеху наблюдающим.

## 51

Природа снова задумала шутить шутки. Глубокий рыхлый снег, напáдавший за декабрь, как обрывки разорванных писем, дневников и рукописей, который скрыл все напрочь опавшие листья, вдруг весело начал смывать грозовой ливень, родившийся непонятно где и налетевший неясно откуда. Но молния была... Слепительно-рыжая, раскалывающая небо на две части огненной трещиной, зарывающейся где-то поблизости в сугроб, от которой тот мгновенно таял, обнажая почерневшие и обугленные листья, так и не успевшие вспыхнуть ярким ровным пламенем, вызывающим весеннее половодье.

Перед самым Новым годом опять ударил 30-градусный мороз. Деревья застыли под сиреневым светом раскачивающегося от ветра фонаря и шевелили своими стеклянными ветками, на которых играли «лунные» зайчики, совсем не похожие на солнечные: они были ледяными, как свет ртутного светильника, и очень красивыми, напоминающими талантливую и чарующую игру камней горного хрусталя, грани его были ещё не отшлифованы рукой умельца.

Светлана в задумчивости подошла к окну, наполовину заросшему изнутри диковинными ледяными узорами зимнего леса, сквозь дебри которого можно было выглянуть в лиловую ночь, только если старательно оттаивать их своим учащённым дыханием, и потрогала тёплой ладонью сначала выпуклый рисунок шершавого занавеса на стекле, ощущая шёлковыми подушечками пальцев ледяное покалывание, незаметно заползавшее в часто бьющееся сердце, грозящееся остановиться от открывающейся из окна красоты, а затем погладила тёплое сплетение ветвей на стене, половина которого бесследно исчезла, стёрлась ледяной витражной коркой окна.

Она взяла свою выцветшую, измятую, с неровно загнутыми по углам, будто гусеница завернулась в зелёные листья, клетчатými страницами тетрадь — и качающимися, заваливающимися буквами, похожими на прохожих на обледеневшем после дождя тротуаре, написала:

\* \* \*

*Жизнь вошла в колею.  
И зима  
Накатала лыжню среди ёлок.  
И нисколько не надо ума,  
Чтоб искать в сене блеск от иголок.  
Что упало — пропало,  
Не плачь!  
Не отыщешь в листве прошлогодней.  
Жизнь — цепочка потерь и удач.  
Ну и что, что потеря сегодня.  
Ну и что, что следы замело,  
Что ключи потерялись от дома.  
Оглянись: посмотри, как бело —  
Это в юности было знакомо.  
Всё сначала.  
С горы — под откос,  
Чтоб потерянный дух захватило!  
Лишь скуёт вдруг дыханье мороз  
Да слеза на глаза накатила.*

Потом она медленно подошла к компьютеру; глубоко утопила указательным пальцем серебристую кнопку, зажигая синий стеклянный глаз, похожий на огонёк газовой конфорки; прочитала приветствие; подождала, пока значки всех запускаемых программ выстроятся на экране монитора ровными подстриженными рядами на фоне пейзажа, где по серым камням лениво катался голубой океан, напоминая о раскалившейся гальке лета; подключила Интернет, набрала логин и пароль и стала медленно перечитывать историю «сообщений», пытаясь разгадать то, что так и осталось неразгаданным и почему-то всё время не давало ей покоя.

<http://www.odnoklassniki.ru/>

**Светлана:** В Новый год тепло и зелено?

**Одиссей:** Да. Ну, относительно тепло. Но снега до Нового года не было и трава лежала зелёной.

*Все электронные адреса, упомянутые в повести, вымышленные и не имеют никакого отношения к реальным пользователям сети Интернет.*

□

### **Галина ТАЛАНОВА**

(настоящее имя Бочкова Галина Борисовна)  
родилась в г. Горьком.

Окончила Горьковский госуниверситет,  
кандидат технических наук.

Поэт, прозаик. Автор шести книг стихов:

«Годовые кольца» (1996); «Ожидание чуда» (2001);

«Подобие дома» (2006); «Жизнь щедра» (2007);

«Душа любви открыта» (2009);

«И за воздух хватаясь руками...» (2011).

Стихи публиковались в таких изданиях, как

«Литературная Россия», «Новая газета»,

«Роман-журнал XXI век», «Юность»,

«Созвучье муз» (Германия), «Истоки» и других.

Член Союза писателей России.

Живёт в Нижнем Новгороде.

В журнале «Север» публикуется впервые.

